

Борис
ЕВСЕЕВ



Офирский
СКВОРЕЦ

*Финалист премии «Ясная поляна»,
лауреат премии имени В. Катаева*

Борис Тимофеевич Евсеев Офирский скворец (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17872918
Офирский скворец : сборник / Борис Евсеев. : Эксмо; Москва; 2016
ISBN 978-5-699-86593-2

Аннотация

Российский подданный, авантюрист и прожектор Иван Тревога, задумавший основать на острове Борнео Офирское царство, по приказу Екатерины II помещен в Смирительный дом. Там он учит скворца человеческой речи. Вскоре Тревоге удастся переправить птицу в Москву, к загадочной расселине времен, находящейся в знаменитом Голосовом овраге. В нем на долгие годы пропадали, а потом, через десятки и даже сотни лет, вновь появлялись как отдельные люди, так и целые воинские подразделения. Оберсекретарь Тайной экспедиции Степан Иванович Шешковский посылает поймать выкрикивающего дерзости скворца. Разыскники вступают в Голосов овраг и пропадают там на двести с лишним лет. Появляются они в Москве только весной 2014 года...

Книга Бориса Евсеева включает в себя десять новых рассказов и небольшой остросюжетный роман-приключе «Офирский скворец», который был опубликован в журнале «Юность» (2015, №№ 1–3), стал финалистом премии «Ясная Поляна» и лауреатом премии В. Катаева.

Содержание

Офирский скворец	4
Дело № 2630	4
Зоос	10
Голосов овраг	14
Священная майна	17
Ханадей, Ханадей, пташечка...	22
Nuda veritas. Колоброд и скворец	27
Дзета	30
Тлин	33
Парад иллитератов. Велодриммер и незнакомцы	39
Царство Тревогина	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Борис Евсеев Офирский скворец

Офирский скворец Роман-притча



Дело № 2630

– ...а вчерашнего дня совершил тот Ванька прегрешение мерзопакостное!

– Убег, сквернавец?

– Из смиренного дома не убежишь. И решетки, и запоры – все чин по чину. Тут – иная печаль... Ученого скворца, что по добросердечию в смиренном доме содержать ему разрешили, на волю выпустил! Подговорил караульного: «Дескать, весна на дворе, птицу жаль. Для забавы, мол, держал ее. Так ты, сменившись, передай скворца – из полы в полу – верному человеку. Человек тот убогий: Левонтий-немтырь. Птица разговорами его и утешит...» Караульный, первогодок непоротый, Ваньке – возьми да и поверь! Но самое мучительное в другом: будучи после Петропавловки, по всемилостивейшему указу водворен в смиренный дом, Ванька Тревога послаблением этим дерзко воспользовался! Взял и подучил скворца нести околесицу про Тайную экспедицию, про Голкондское да про Офирское царство...

– Неужто царства такие существуют?

– Царства Голкондского точно нет. Ванька сам от него давно отказался. А насчет царства Офирского – еще разбираться надо...

Передразнивая Ваньку, Степан Иванович измучился, осерчал, досадливо смахнул слезу, на минуту смолк, откинулся в кресле. Стакан для перьев, нож для резки бумаги, пара подсвечников, чернильный прибор из лазурита – почтительно отделились. Чувства, однако, были приведены в порядок, и сразу же нос обер-секретаря с прямоугольным кончиком, словно вылепленный из твердой белой глины, дрогнул крылышками, издал сопение, задвигался резче, мощней, будто хотел соскочить с лица, кинуться, подобно борзой, за лисой или зайцем!

За учуянной дичью последовал также и взгляд. Но тут же розыск прекратил, зарылся в хамаданский верблюжий ковер. Взгляд Степана Ивановича был послушен внутреннему голосу, который отчетливо произнес: надо оставить в покое зверье крупное, зверье мелкое и следовать только за зверьем опасным!

Шешковский прикрыл глаза прозрачной детской ладошкой.

– А только Бог с ними, с царствами. Не в них главный соблазн.

– В чем же он, ваше превосходительство?

– А вот в чем. Кто мне теперь в точности скажет, чему еще Тревога обучил скворца?

– Так расспросить его с пристрастием! Как на духу все и выложит.

– Кто выложит? Скворец?

– Ванька...

– Да вот же, пока не выложил. А расспросить – расспросили. Я сам на Васильевский, в смиренный дом ездил. А перед тем – на Пряжку, где Ванька одно время в гошпитале содержался. Только хитер Тревога! Рассказал многое, но не все. Сказки и прожекты его, вкривь и вкось накарябанные, сама государыня читать изволила. Про склонность его к обману и литью фальшивых монет ей тоже доложили. Равно как и про то, что призывал Тревога российских и иностранных подданных основать, как он сам написал, «с трудом и потом» – новое государство на острове Борнео. Выдумкам тревогинским матушка не поверила. Назвала их «сплетением вымышленных сказок». Но что-то в тех сказках государыню до слез тронуло. А посему вердикт ее был...

Шешковский откинул сукно, вынул плотный лист бумаги: «Оный Иван Тревогин все сии преступления совершил по молодости своей, от развращенной ветрености и гнусной привычки ко лжи... Других же злодеяний от него не произошло...»

– Не имел Тревогин жестоких умыслов, – изволила добавить матушка-государыня, – пожалеть его надобно и от тяжкого наказания избавить.

– Ну, ежели матушка-государыня так изволила говорить...

– Ты далее слушай. Тут дело ясное: брешет Тревога, как пес смердящий! Но брешет складно, иной раз высокоумно. А еще Ванька девичий характер имеет. Чувствительность его и пронзила государыню до слез!

– А я-то, ваше сиятельство, грешным делом, думал: к мужеским характерам матушка-государыня склонность питает.

– Цыц, пакостник! В мысли матушкины нюхальник не суй! Ишь, смелость взял узнавать тайное... И сиятельством меня не зови. Из мещан я, хоть по должности и выше многих князей буду. В московской конторе тайных розыскных дел подканцеляристом служил. Сам бит, сам порот бывал. А говорю это того ради, что двадцать лет мы с тобою, Игнатий, одну лямку тянем. Еще потому, что не всякий поротый злобу на порку держит. Таков и я... С Ванькой же Тревогой и его птицей деликатность требуется. Не каждому доверить могу. И матушка-государыня недовольна будет, коли что не так. Про Москву тоже вспомнил не зря: тайная часть нашей беседы Белокаменной коснется.

Шешковский встал, легонько охлопал себя по бедрам, щелкнул кистями рук.

Кабинет был затемнен. Узко сдавленное питерское утро в него почти не проникало. Рыжебровый Игнатий, в который раз уже, подивился мозглявости обер-секретаря Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате. Посмеялся про себя и над мелким чмыханьем Степан Ивановича.

Чмыханье, однако, было делом привычным. А вот что оказалось новым, так это запах пачулей. Мшистый, женский, плывший из тайной комнаты, соединенной с домашним кабинетом Шешковского, запах встревожил Игнатия не на шутку!

– Слушай, что говорю, пакостник, – оторвал Игнатия от впечатлений обер-секретарь, – есть на Москве один овраг. Голосов овраг зовется... Слышал про него, когда еще в подканцеляристах обретался. Одиннадцать лет назад, в году 1774-м, когда по делу Емельки Пугача в Москву послан был, ездил я тот овраг осматривать... Место сырое, и место странное. И хотя вблизи сельцо Коломенское, где блаженный Алексей Михайлович скучать любил, – все одно место дикое! Говорили про тот овраг – всякое. А середиш дела вот в чем. Есть в овраге расселина! В каковую, по секретным записям, и татарские конники, и стрельцы сотнями, и дворцовая стража десятками, и обычный люд не единожды и не дважды проваливались. А потом – когда через двадцать, а когда и через сто лет – провалившиеся живы-живехоньки в Голосовом овраге обнаруживались. Что с ними творилось далее – ни в сказке сказать, ни пером описать. И ведь не одни стрельцы или конники обратно из расселины выныривали! Некие особи в железных колпаках, с ружьями, пуляющими по сто раз в минуту, – являлись. Ни стрельцы, ни железные головы долго не жили: так с выпученными глазами через месяц-другой в московских узилищах Богу душу и отдавали.

– Диво дивное, Степан Иваныч!

– Врал про ту расселину один философ-головастик в застенке: будто век наш осьмнадцатый через нее с другими веками соединиться может – хоть с десятым, а хоть с двадцатым!

– Чудо, чудо!

– Не чудо. Обезьянщики немецкие безобразят. И наши академики им вослед. Недаром, ох недаром Михайлу Ломоносова сжечь хотели. И заметь: тогдашняя Тайная канцелярия к тому предполагаемому сожженью малейшего касательства не имела.

– Да я б тому Михайле!..

– Заглохни, тетерев... Далее. Делая вид, что изнемог под пыткой, Ванька все ж таки признал: дескать, скворца разным словам выучил и в Голосов овраг со своим подручным, Левонтием-немтырем, отправил. Чтоб там птицу для будущих времен сохранить. Дабы мог скворец в будущих временах против нынешнего правления свидетельствовать. Только брешет, авантюрист! Взяли мы вчера Левонтия. И впрямь: нем и скрытен оказался. И хоть письму обучен, ничего про скворца письменно не сообщил. Самого скворца тоже при нем не обнаружилось. Написал же Левонтий всего несколько слов: мол, передал птицу человеку по имени Фрол. С тем чтобы, как и велел Ванька, скворца в Голосов овраг, к расселине доставить. Да боюсь, про Фрола тоже брешет. Может, скворец сам в Москву упорхнул, проверить надо.

– Нешто скворец голубь?

– Не голубь, а поумней голубя будет. Голубь что? Голубь птица скудоумная. Что к ноге прицепили, то и доставит. А скворцы связной людской речью владеют. Ум выказывают. Способны слова припоминать, мысли компонировать. Ежели скворец был некогда из Москвы сюда привезен – сам дорогу найдет. Только, нутром чую, не сам скворец в Москву упорхнул! Людишки низкие помогли!

За ресницу вновь зацепилась и в нерешительности – как намек на сложность обстоятельств, – повисла прозрачная, едва заметная слеза. Эту слезу Шешковский смахивать не стал.

– Ты вот что, Игнатий: надобно скворца того изловить. Надобно сюда его представить! Бери Савву да Акимку, бери из наших возков какой победнее: беззаконный, крытый рогожей. И бурей – в Москву! Авось, у расселины скворца перехватите. Даже и в мыслях нельзя допустить, чтобы он в других временах очутился.

– А ежели мы сами в ту расселину ахнем?

– Значит, туда вам, телепням, и дорога! Только не чую я в той расселине достоверности... Да гляди, Игнатий. Помнишь, каким из Литвы прибыл?

Сухой перхающий голос Шешковского был неприятен. Великан Игнатий поморщился, однако послушливо, как дитя, склонил голову.

– А «рогатку» на шее у Арсения Мацеевича помнишь?

– У попа, што ль? Коего государыня повелела во всех бумагах сперва «Андрей Бродягин», а после – «некий мужик Андрей Враль» именовать?

– Цыц! Ты мне, Игнатий, подследственных бесчестить не смей. Всех их люблю, до шпыня последнего! В их же мучениях их и люблю. Уразумел?

– Как не уразуметь...

– А уразумел, так излагай по форме: мол, рогатку у епископа Мацеевича на шее помню. И знай: злоумышляющих на царство, будь то поп и весь его приход, будь то помещик и все его дворовые, Шешковский из-под земли выроет, из любой расселины достанет! И в тайную комнату, и на кресло!

Игнатий попятился. Про кресло для экзекуций, опускаемое и поднимаемое через отверстие в полу тайной комнаты, соединенной с кабинетом Шешковского, было ему известно доподлинно.

– Ладно, не вешай носа. Грамоте знаешь?

– Чтению обучился. Письму – не сумел.

– Держи лист из дела. Прочитай сколько-нибудь вслух.

Шевельнув рыжими волохатыми бровями и не решаясь откашляться, Игнатий, сипя, прочитал:

– Дело за номером 2630. «Об Иване Тревогине... распускавшем про себя в городе Париже нелепые слухи...»

– Париж – городишко французский. Сперва французы слухам тем не верили. А недавно – как взбеленились! Снаряжают отряд. Искать на острове Борнео указанное Ванькой Офирское царство. Чти далее.

– «...по делу Ивана Тревогина, доставленного из Парижа в Санкт-Петербург в сопровождении тайного агента господина Обрескова, а также инспектора французской полиции мосье Ланпре, и определенного в Петропавловскую крепость, прочитав все его гистории и сказки, государыня повелела: «Выпустить секретного арестанта Тревогина...» Тут пропуск!

– Так надо. Чти далее. – Голос Шешковского стал сух невыносимо.

– «...а как в смиренном доме вел себя Тревогин подобающе, то, продержав его там еще с полгода, отдать в Тобольский полк солдатом, под особый надзор».

– Сам я Ваньке про этот указ недавно и рассказал. Обрадовал подлеца. А он – возьми да и выпусти птицу!

– Тут дело ясное. Упекут Ваньку в Тобольск, навряд ли назад вернется. И скворец в Сибири пропадет. Вот Ванька и решил: дескать, сам сгину, так хоть птицу в Москву отправлю.

– Дурак! Ванька сгинет – записки его останутся. Матушка-государыня уничтожать их не велела. Для истории, сказала, сгодятся. А тут еще скворец ученый... Что он про наши времена и про государыню болтать станет, ежели Голосов овраг и расселина взаправду с иными временами соединяются? Так что ноги в руки – и в Москву! Листки эти сжуй и проглоти. Для тебя одного с дела копию сняли. Савве и Акимке про тайный смысл дела – ни словечка!

Степан Иванович бережно опустил себя в кресла.

Запах пачулей из тайной комнаты внезапно резко усилился.

«Снова бабу расспрашивать привезли. Она, дура, запахами играет, думает – поможет. Ух, мне б ее», – Игнатий хищно втянул в себя воздух.

– ...сюда, сюда мне скворца ученого привезите! Да бережно под крылышки его принимайте, клюв ему, разбойники, не повредите! Сам истории про Офир слушать желаю! Сам...

«Ну, пустили савраску без узды», – просипел, откланиваясь, Игнатий.

* * *

На Москве были через четыре дня. Потоптались у Лобного места. Откушали пирогов московских: с кашей и зайчатиной. Не тратя времени зря, двинули возком в селцо Коломенское.

В церкви Вознесения Господня кончали благовест. Уже свалившийся было под горку день – вдруг вернулся. Глянуло вечернее солнце.

– Троица скоро. Праздник взыскательный, праздник строгий. А мы тут баклуши, не помолясь, бьем. – Кучер Акимка размял ноги, перекрестился, почесал батоном спину.

– Вон он, Голосов овраг, – негромко вымолвил провожатый, – вперед и левой глядите. Только я туды не ходок.

Провожавший питерских Сенька Гуль, до скончания века обязанный Шешковскому сокрытием одного из темных дел своих, мимовольно попятился.

– Дальше – сами. А то, вишь? Зеленцой туман берется. Как бы худого не вышло. Ходят слухи – пропадают здесь. – Сенька жадно, по-звериному сглотнул слюну.

– Ладно, ступай себе с Богом. Слухи эти нам ведомы. Лошадей и возок постереги. Мы на птицу силки поставим, подождем до ночи – и назад. А не попадет в силки... – Игнатий один за другим выдернул из-за пояса пару дуствольных пистолетов... – Савва у нас птицу на лету сшибает. Так, закадыка? – подмигнул гололобому Савве Игнатий.

– А до утра не потерпит? – Костистый, обритый на турецкий манер, с усами обвислыми, Савва нехотя принял пистолеты.

– Услыхал я сейчас звоночки нежные. И покрикиванья из оврага доносятся. Слова в тех покрикиваньях вроде человеческие. Только, чую: птица кричит. Наставь ухо трубочкой, Савва, сам услышишь.

В щебете и гомоне майского вечера внезапно и впрямь услышалось: «Офир-р! Офир-р! Под-данные рады! Государ-рыня в гнев-ве!»

– Скворец! Скорей вниз!

На краешке одного из слюдяных камней сидел страхолудный мужик. Скорей всего, это Фрол, указанный Левонтием-немтырем, и был.

По земле меж его огромных, черно-синих, раскинутых в стороны ступней, едва прикрытых изодранными в клочья опорками, ходил взад-вперед и покрикивал крупный желтоухий, с красным надклювьем скворец.

– Хватай их!

Фрол мигом вскочил, подхватил скворца, сделал два-три шага в сторону и внезапно исчез: точно сквозь землю провалился.

– Тут он, Игнатий, тут! Гляди, шапка за куст зацепилась!

– Как бы нам в расселину не угодить...

Зеленоватый вечерний туман стал внезапно сгущаться.

А когда туман рассеялся – ни Фрола со скворцом, ни Игнатия с Акимкой и Саввой близ громадных слюдяных камней видно уже не было.

Сенька Гуль ждал с лошадьми и возком день, ждал другой. Поговорил со знакомым трактирщиком. Тот присоветовал – ждать неделю.

– Только не вернутся они. Здесь так уже бывало. Полусотня стрельцов провалилась когда-то. А через сто лет выступили те стрельцы наружу. Да только вскорости все померли. Не выдержали перемены лет.

– Мать честная...

– Ты, Сенька, вот чего, ты на Дон беги. А лучше – в Новороссию. На тебя пропажу лошадей списать могут. В Новороссии сенатор Потемкин новые города, слышал я, закладывает. Там Шешковский тебя ни в жизнь не сыщет. А лошадей я у тебя куплю. Возок – офеням сбагрим... Ну, по рукам?

– Прах с тобой, по рукам!

Неделя отшумела быстро. Сенька Гуль отдал трактирщику лошадей задешево. Но и того хватило с лихвой. Разложив на тряпице червонцы, Сенька глядел на них как на съестное: глотая слюну, жадно, пристально.

Грянула Троица. Однако ни в Троицын, ни в Духов день, ни позже Сеньку, равно и прибывших из Петербурга разыскателей Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате, в сельце Коломенском больше никто не видел.

Зоос

– Гр-ром и с-стекла! Гр-р-ром грянет – стекла др-ребезгом! З-золото – прахом! Офир-р, Офир-р! Майна, корм!

Внезапно скворец замолчал и спрятал голову под крыло.

Приближался раздатчик корма. За ним двое вьетнамцев катили тележку с бидонами и эмалированными мисками. С краев мисок на кровавистых нитях свисали кусочки сырого мяса.

Скворец-майна, сидящий на жердочке в просторном вольере, разносчика ненавидел. Но крики его скворца не пугали. Наоборот! Весело было слушать и смотреть, как этот дурошлеп, плямкая сизыми губами, выталкивает из себя порциями пар и сор.

Петюня Раков, разносчик с четырехлетним стажем, сперва распределил пищу между царями природы: орлами и прочими сипами белоголовыми. А уж после вернулся к скворцу: показал майне кукиш, кинул в миску кусок окаменевшего сыру. Клевать сыр скворцу было неинтересно.

– Вы гляньте, какой гордый! Святым духом будешь сыт, долбак? Да я тебя...

– З-за Можай! З-загони майну з-за Можай!

– У, змей пернастый...

– Пок-к-кажи майне кук-к-киш! Зоос! Зоос!

– Молчи, балалайка!

* * *

В Москве, в зоопарке, объявилась диковинная птица. Разместили птицу в отдельном вольере, как раз напротив орлов. Те на пернатую мелочь внимания не обратили, и скворец-майна без особых тревог и нервных срывов зажил в просторном вольере один.

Как и полагается, первым делом вывесили табличку:

«Gracula religiosa religiosa.

С острова Борнео, питается... размножается...»

И все пошло своим чередом.

Однако вскоре по зоопарку разнеслось: скворец-то говорящий!

Скворец-майна был желтоух и синекрыл, а клювом обладал – багряно-красным. Говорил не так чтобы часто, иногда, словно через силу. Больше любил передразнивать гудки машин и велосипедные трели, которые издавал раздатчик Петюня, по утрам и в обед объезжавший свои владения на трехколесном итальянском драндулете марки Bianchi с латынскими-перелатаными, но пока никем по-настоящему не исполосованными шинами.

Петюня ехал с распахнутым сердцем и, подражая московским рэперам, в полный голос скандировал: «Ах вы, звери, мои звери, звери сраные мои... Звери новые, хреновые, усатые, полосатые...»

Никто Петюню особо не слушал. Но езда на драндулете воодушевляла его сильнее и сильнее: «Выходила молода за новые ворота, выпускала скворца, долбака и подлеца...»

В то мартовское утро скворец-майна на Петюнины дразнилки отвечать не стал: не дождется! Но когда скворец внезапно заговорил о своем, наболевшем, не только Петюня – даже федеральный судья Чмых, три-четыре старушки, плюс к ним третьеклассники брат и сестра Заштопины, которых без няньки в зоопарк отпускать попросту боялись, так гнусно они себя там вели, – в сладком ужасе застыли на месте.

– Пут-тину – слава! Нам, дур-ракам, – конец! Зоос, придурки, зоос!

Хорошо, скворец поговорил и сник. А иначе не дожить бы ему до того дня, с которого и начинается наша история: так на скворца обиделся Петюня!

* * *

Денек мартовский, денек пока еще не весенний, тающая льдинкой на губе долгая московская зима, крики гусей, пар над водой... Радость, радость!

– Видишь того скворца? Пальцем не тычь – а? Заказ на него поступил. Так ты вечером на грудь не принимай: будем выдергивать из скворушки перушки.

– И че потом?

– Суп с котом.

Двое охламонов небольшого росточка, оба, как те грибы-крепыши, крепко притиснутые ошляпленными головами к закругленным плечам, – толкнув друг друга выпяченными животами, разошлись в разные стороны.

Тихо взвизгнули, стукнувшись лбами, слабонервные дети, заокала привезенная откуда-то с Северов нянька в охристом платке: «Ой, лишенько мое лихо, лихо мое поморское...» – день подрос, сухо хрустнул костями и побежал по Москве, сперва на четырех лапах, затем, как белый медведь, встал на две, дорос до неба, выпустил изо рта несколько круглых, прозрачных туч и лишь затем стал опадать, гаснуть.

Уже после заката, трижды прозвев мелодичной велосипедной трелью, снова заговорил скворец:

– Р-р-раздатчик сволочь. Дайте спирту! И з-занюхать. Скор-рей! Мне дур-рно. Пут-тин – эт-то верняк! Царство Офир-р! Офир-рская земля!

Никто скворца не понял, и он, захлебнувшись руганью, стих.

* * *

Офирская земля после некоторых умственных запуток была признана Россией: образца XXI века, 014 года, марта месяца. Крики скворца напомнили о чем-то важном, стронули с места сырой и необмерный пласт памяти, а откуда этот пласт взялся – шут его знает!

Володя Человеев, представитель московской богемы и один из последних в тот полумимный вечер посетителей зоопарка, задумался.

Постояв, нехотя тронулся к выходу.

Володя шел к выходу в лаковых, с фиолетовым отливом штиблетах и словно под сурдинку бормотал: «Офирская земля... Царство Офир... Что бы это по-настоящему значило? Конечно, если майна кричит про Офир по-русски, то это – что-то близлежащее, птичьим умом вполне осягаемое...»

Мимо Володи прошмыгнули два упыренка, тесно накачанных спертым воздухом страсти. Упыренками Володя звал всех не богемных жителей столицы старше сорока. Упыренки сгнули, и Человееву захотелось углубиться в свои, а потом в чужие мысли. Но ничего своего в голове в тот час не отыскалось. А из чужого вспомнилось одно лишь: «Не сеют, в житницы не собирают, а сыты бывают...»

«У кого бы про Офирское царство спросить?»

Ответа не было.

Тогда Володя стал думать про желанное и утешительное: про вечерний ресторан, про то, что молодость – ужористая штука, что ему только тридцать с хвостиком, что он не бедняк, а, скорей, богач, что кроме лаковых штиблет на ногах – на плечах у него кашемировое, легкое, как пух, но и теплое пальто, а на голове четырехклинная, ловко скроенная и до помутнения ума прикидистая конфедератка.

Тут Володя снова вздохнул, а потом даже упрекнул себя стихами, вылившимися в длинную, слегка горячую строчку: «Средь людей я дружбы не имею, я другому покорился царству, каждому здесь кобелю на шею я готов отдать свой лучший галстук...»

Галстука у Володи не было, и он решил завтра же зеленый в косую полоску ошейник прикупить.

* * *

Сорокалетние Мазловы были только на вид туповаты. На самом же деле – себе на уме. Скромный росточек их ничуть не томил. Томило близнецов другое: на них, как говорится, едун напал! Братья ели ночью, ели утром и в обед, перед ужином и сразу после него. Сейчас, в зоопарке, оба дружно хрустели хорошо обжаренным московским картофелем, доставая негнушимися пальцами из шуршащей пачки пять-шесть ломтиков зараз.

Братья Мазловы прятались за широкими плакатами и оголенными растениями, дожидаясь полного остекления вечернего воздуха и хотя бы частичного онемения гусей-уток на пресненских прудах.

Вскоре такой миг – миг вечернего онемения и сытой плотности – настал. Братья умело отключили сигнализацию, взломали дверцу вольера, запихнули священную майну в мешок, перемахнули в заранее подготовленном месте через забор... Только их и видали!

За оградой, в Зоологическом переулке, братьев никто не ловил, под белы руки не брал, в каталажку не сажал. Всяк был занят своим: кто Крымом, кто Римом. Близнецы расслабились, закурили, влезли в машину. Чуть погодя старший вышел закрепить дворники, за ним – продышаться – выбрался младший. Украденного скворца старший вместе с мешком пристегнул к поясу и так вокруг машины и ходил. Выглядело смешно.

– Как жнец с картинки! – хохотнул младший.

Старший отстегнул мешок, развязал веревки, глянул свысока на скворца:

– Повтори, змей пернастый: как жнец с картинки!

Украденный скворец молчал.

Старший Мазлов – двадцатиминутным своим первородством что было сил гордившийся – туго затянул мешок веревкой, но потом опять ее расслабил, выдернул скворца за крыло из мешка, щелкнул по клюву.

Скворец стерпел. Этим он Мазлова-старшего к себе сразу расположил.

Зато надулся младший:

– Дай ему в клюв еще раз!

– А если он говорить перестанет? Ты за него трындеть, что ли, будешь?

– Подпали ему хотя б перья на заднице. Я из-за него штаны об забор порвал. Или давай его научим нашему, мазловскому... Ну, скажи: «Все петушары, все уроды!»

– Тихо ты! Раскукарекался, – оборвал старший, – не видишь? Идет кто-то.

* * *

За десять минут до этого, входя во второй раз за день в закрывающийся уже зоопарк, Володя Человеев услышал заполoshные крики скворца и тревожно замер. Крик повторился. Володя понял: что-то не так – и припустил что есть мочи к вольеру. Добежавши, вольер осмотрел: священной майны – как не бывало! Минуты через полторы две абсолютно одинаковые фигурки сиганули вдалеке через высоченный забор, отгораживавший зоопарк от Зоологического переулка.

В тот устало мерцающий вечер в зоопарке уже никого не было: только пар от прудов и внезапно хлынувший ледяной дождь.

– Уперли, охламоны!

Лезть в лаковых штиблетах через забор оказалось неудобно.

Через семь-восемь минут, оббежав зоопарк со стороны Большой Грузинской и очутившись в Зоологическом переулке, Человеев огляделся. Злоумышленников нигде видно не было. Слышалось лишь мяуканье молоденькой писклявой кошки.

Вдруг крайняя из теснившихся в переулке иномарок рванула с места. Мелькнуло лицо одного из упырят, и день, до той поры еще цеплявшийся за изгибы водостоков и скаты крыш, тихо рухнул в негасимую вечность.

Голосов овраг

– Чуете?

– Галдеж, свист, вой звероподобный... Господи, что с нами было? И что теперь станет?

Пропадем ни за понюшку табаку, Игнатий!

– В расселине не пропали и тут сдюжим.

– Чуете, говорю, криков про Офир не слышать! Стало быть, нету здесь птицы.

– Сдеру-ка я с себя одежонку эту поганую.

– Ят-те сдеру! Хорошо такая нашлась. Покуда туман – дело обмозгуем.

Подернутый зеленцой, проеденный по краям хитрыми полевками снежный туман поднимался из Голосова оврага и полз выше, выше, на Дьяково городище, на только что отстроенный дворец Алексея Михайловича, а потом вдруг волокло его совсем в другую сторону: на торцы и башни музея-заповедника «Коломенское», на южный клин Нагатинской поймы...

Полночи и всю темную часть утра томились разыскатели Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате в Голосовом овраге. Дважды пролетала громадная желтая стрекоза с винтом. От страха падали ниц.

Приходили за родниковой водой двое бродяг. Промеж себя называли друг друга бомжарами. Одеты были во все пятнистое. В руках – двуручная корзина, из нее свешивался еще один пятнистый рукав.

У бродяг отняли одежду, запеленав их кое-как в свое, затолкали в расселину. Там бомжары затихли.

Когда посветлело, на вершок оврага выдрались двое: парень и девка. В розовых дутых телогрейках, волосы на висках и выше коротко острижены, остатки волос выкрашены сиренью, взбиты петушиными гребнями.

– Гляди, прикол! – крикнула девка. – И здесь маскарад! – Она пыхнула огоньком и, оглушая себя, запустила музыку в коробочке на всю мощь.

Взятые словно бы обезьяньей лапкой, понеслись неловкие, варнячающие звуки струн, потом кто-то, хрипя, запел: «Я – тер-рорист! Я – Иван Пом-м-мидоров! Хватит тр-репаться – наш козырь террор!»

– Выруби это старье! – крикнул, перекрывая музыку, парень.

– А не вырублю! Террорчик, террориз-зм! – взвизгнула девка.

– Ох ты, горюшко, – забормотал безбородый Акимка.

Трое в музейных кафтанах и поверх них в отнятых у бомжей камуфляжных куртках, в давно забытых малахаях и мадьярских сапожках с чуть загнутыми кверху носами медленно выступили из расселины, уставились на сиреневые хохолки ирокезов.

Девка приветливо махнула рукой:

– А по коктейлю, френды? Здесь рядом и принять можно...

– Тьфу, пропасть, – плюнул себе под ноги Савва.

– Тише ты, – ухватил его за рукав Игнатий, – говорил же: как выйдем из расселины, всякое случиться может. Молчи!

Девчонка кинула недокурочек в снежный овраг, весело запрыгнула парню на спину, засмеялась, завизжала, стала нахлестывать его, как коня, тонкими ремешками от сумочки...

Розовые телогрейки исчезли.

Слегка пошатываясь – один впереди, двое сзади, – выступившие из расселины разыскатели Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате чуть продвинулись вверх по оврагу и у неолитических камней застыли.

Вид у всех троих был ошалелый. Как в полусне, дотронулись они по очереди до одного, потом до другого камня.

И Гусь-камень, и Девин-камень были холодной могильного холода.

– А камни-то, как тебе и было, Игнатий, сказано, лежат на месте!

– Куда ж им деваться. Небось по три тыщи пудов каждый.

Литвин Игнатий наступил сапогом на лежащий рядом с камнем глянцевый женский журнал. Потом наклонился, гадливо, как мышь, двумя пальцами журнал поднял, глянул на картинку, отбросил в сторону.

– Ассигнации здесь в ходу какие, узнать бы. Есть у меня запас, да мал.

– Забьют в колодки, как пить дать, забьют! Было бы нам сразу, Игнатий, вернуться, было бы вообще в расселину не вступать. Повинились бы: поплутали по оврагу, да и не нашли скворца!

– Ладно, не бойсь. Что сделано, то сделано. Может, все, что видим, – одна мара косматая...

– Ага, мара! Ты вон побродягу сам лупцевал. Тело-то у него настоящее... Забьют, как есть забьют!

– Авось не забьют, горло оловом не зальют.

– Што олово! Мишке-таратую, делателю фальшивых денег, годков двадцать назад, так же вот жидким оловом нутро залили. А олово возьми да и прорви ему горло, возьми и выплеснись на землю! Жив таратуй остался, хрипел и свистел аж до осьмидесяти лет!

– По мне – так одно только гишпанское щекотало, и страшно.

– Это кошачья лапа, што ль?

– Ну! Алешку Кикина, что царевича Алексея в город Вену бежать подучил, надвое такой лапой разодрали когда-то. Растянули на лавке, и ну щекоталом этим, двойными этими грабельками, ему тело рвать.

– Непростой ты человек, Акимка. Откуда сокрытое знаешь? Молчишь? Ладно. Только страху на нас не нагоняй, не испужаешь. Да и пытки с казнями тут, в невещественном царстве, небось, в ходу другие. И вообще: казни бояться – с чужою бабой не спознаться. Сполним поручение – в своем царстве заживем припеваючи. Ты вон, Аким, давненько Маньку присмотрел. Так ведь она за тебя без полста червонцев ни в жизнь не пойдет!

– А это мы поглядим ишшо... Ты другое, Игнатий Филиппыч, скажи. В голову мне вдруг встало. Раз времена так сильно вперед шатнулись и мы в них очутились... Значит, новые времена – они взаправдашние и есть! А тогда выходит, это наше с тобой царство – неживое! Это наше с тобой царство невещественное!.. Времечко-то вон куда заскочило. А наш Петербург с Тайной его экспедицией, с господами-князьями, да с людишками попроще – как те твари в Кунсткамере: навек заспиртованными остались.

– Умен стал?

– И впрямь: молчи, Акимка! Кака те разница во временах? Москва – она к любому веку подходит.

– Верно! Стояла и будет стоять. Сказано тебе: Москва вечный город!

– А нам в Питере твердили: на Москве – морок один! Выходит, противоположно: в Питере – морок! Мга, марь, туман!

– Цыц, сквернавец! Царство государыни – не морок, не мга!

– Молчи, Акимка, пока не переломлена спинка. Сними малахай лучше.

– Это ты верно, Савва. Весна на носу. Одевай, Аким, косынку, что у бомжар отобрали. Вишь? Как на этой картинке. – Игнатий пошевелил носком сапога лежащий на земле журнал. – А малахай в мешок спрячь... Ну, с Богом, братия! Покуда народу маловато, глядишь, до Дворца царского добежим. Он от расселины недалече. Там в подземельях схоронимся. А дальше одежку справную достанем – и айда на Пресню. Там скворец, там! На пресненских прудах, скорей всего, обретается. Это уж в последнюю минуту Ванька Тревога под пыткой показал!..

Утренний, снежный туман лег гуще, плотней. Крестьясь, поднялись по крепкой, лаковой, полыхнувшей над снегами янтарем новенькой лесенке.

Через короткое время разыскники Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате меж дубов музея-заповедника затерялись.

Священная майна

Осанна Осиповна была дама вальяжная, но вопрекор вальяжности и острой гордости – страшно любопытная. Ей было интересно узнавать про посторонних мужчин дурное, чтобы потом без усталости руководить ими. К дородной Осанне тянулись мужичонки незаметные, даже плюгавые. И сама она к таким плюгавеньким сердцем прирастала сильнее. Когда-то давно, случайно опустив в своем имечке букву «к», Осанна и вести себя стала созвучно имени: ежеминутно вскидывала глаза к потолку, гремела басом.

– Принесли?

– А то!

– Развязывай.

Старший Мазлов, радостно поплескав себя ладонью по черепу, наклонился к мешку. Мешок резко вскрикнул:

– Петушар-ры! Ур-роды!

– Ах ты, змей пернастый! – Младший Мазлов, тоже лысостриженный, но зато с черными густыми волосами, торчащими из ушей и ноздрей, решил скворца за дерзость проучить, схватил со стола вилку.

– А ну, кыш оба отседа!

Два веских подзатыльника быстро успокоили братьев.

Разобравшись с Мазловыми, Осанна Осиповна уже меньше чем через час сидела все в той же гостиной, пила чай с бергамотом. По столу мимо ее чашки и мимо блюда (туда-обратно, туда-обратно), задрав голову и заложив крылья, как те руки за распрямленную спинку, ходил скворец.

На одни вопросы скворец не отвечал, на другие отвечал, но как-то заковыристо. От таинственности птичьих слов у Осиповны захватило дух:

– Себе тебя, что ль, оставить? Так дорог ты больно. Ладно, покумекаю. А тогда ты вот что, скворушка, мне вдруг скажи: как жизнь моя в дальнейшем сложится? Не таи, скворушка, ответь, – мягко увещевала Осанна.

– Ур-рки, все ур-рки, – звонко щелкал клювом у Осанны над ухом скворец, – петуш-шары, в кон-нце кон-нцов!

– Твоя правда, скворушка, ну просто спасу нет, какие уркаганы вокруг. А ты сам-то кто будешь?

– Кр-рутой я, кр-рутой...

* * *

Володя Человеев прочитал в поисковиках про Офирское царство и пригорюнился. Но потом снова взбодрился. Сказано про Офир было мало, но сказано трепетно. Тут же захотелось скинуть лаковые штиблеты, зашвырнуть их далеко-далеко за Битцевский лес, срочно обуть лапоточки, сдернуть с крюка не крохотную сумку-«пидораску» – подхватить тяжелую котомку и, выйдя за МКАД, громко пригласить в сотоварищи какого-нибудь серого волка на японской «Хонде».

И хотя призрачное Офирское царство ни с какого боку к сегодняшнему дню прилепить было нельзя, сделать это Володе захотелось нестерпимо.

Вот только московская богема, приобретшая в последние годы внятно-паразитический оттенок и пряный устричный вкус, звала, не отпускала его!

Звал ресторан «Метрополь», с хрустом всасывал исторический отель «Советский», выл и пиликал в ушах грубо водвинутый в этот же отель ресторан «Ярь», ночной клуб «Григорий Распутин» манил неотступно.

Но в тот вечер, отринув приманки, Володя остался дома, стал по крохам выискивать в личной библиотеке все, что еще можно было найти про Офир и Офирское царство.

– «Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи – дороже злата офирского...» – увлеченно читал Володя.

Правда, дойдя до слов про золото, Человеев усомнился. Где это слыхано, чтоб человек был дороже благородного металла? Нынешний человек – пыль, грязь и скотские помыслы, ложное оппозиционерство и ни на грамм чистого искусства! А золото, оно беспримесное, оно по-человечески теплое. Берешь в руки – почти живое. «Вот и надо было спервоначалу золотых людей отлить, а уж потом дымить на весь белый свет глиной! Или, в крайнем разе, сорок лет подряд заставить удрученные народы глотать золотой порошок. Только нет! Сколько не заставляй глотать – не поможет. Разве, где-то изначально золотой народ существует...»

Тут Человеев почувствовал легкий депрессняк и упадок духа. Удручаловку и телесный прогиб он почувствовал внезапно!

«Что это я все про золото? Вот – птица. Она ведь золота дороже!»

Тут же до рези в носу захотелось послушать говорящего скворца, чинно поговорить с ним. Вот только находился сейчас скворец в недоступном месте, у некой дамы по имени Оксана Осиповна, а по фамилии Крышталль. Это Володя знал наверняка. Удачно поймав такси, проследил-таки вчера за упырятами!

Госпожа Крышталль – так говорилось в ее парадной биографии на сайте «Все девочки Тверской» – была дамой не столько богемной, сколько, на взгляд беспристрастных биографов, панельно-бандосовской.

Кое-что о даме узнав, идти к ней напрямую Володя поостерегся. Купить скворца? Могут и не продать. Украсть? Ни в какие ворота не лезет.

– Обменять! Икченьдж! – От радости Володя вскочил на стул, потом, застыдившись, спрыгнул вниз и, ловко взбив очень тонкие, но при этом крепкие и слегка даже завивающиеся русые волосы, кинулся в гараж.

* * *

– Слышь, Осиповна? Пусти на минуту! Разговор есть.

– Ты, Плюгаш?

– Плюгаш почку лечит. Это я, Киша Мазлик. Серьезные люди перекупить у твоего клиента птичку хотят, – заварнякал в домофон Мазлов-старший и подмигнул младшему, Тише, прятавшемуся невдалеке за деревом.

– Ну, не знаю... Надоел ты мне, Киша. Опять лясы да балясы плести будешь!

– Пусти. Не жеманствуй. Я ненадолго.

– А брательник твой, он где? Ушел куда или как?

– Ушел, милка, ушел...

* * *

Думать священный скворец не умел. Но когда произносил слова или отдельные звуки, некий упреждающий мысль восторг, некое тихое, сходное с умственным, воодушевление посещало его. Но ведь кроме мыслей есть еще и чувства! Чувствовал скворец остро и чувствовал многое.

Когда подражал трубному крику слонов – чувствовал в себе неодолимую силу. Когда тренькал велосипедным звонком Петюни Ракова – ощущал кислородную емкость крови и пьяную синь в глазах. А когда передразнивал Осиповну – хотелось ему иметь скворчиху: теперь и сразу, сразу и всегда! Но по-настоящему одно только слово «Офир» повергало птицу в священный трепет. Скворец колотился в судорогах и выкрикивал слова непонятные, никогда ранее им не слышанные, в общем, становился священным и великим, пугающе прекрасным и до крайности загадочным.

– Офир-р-р, оф-фирон!.. Офир-рское цар-рство!

Что-то за этими звуками стояло высокое и плескучее, полное пшена и прозрачной воды без всякой химии! Это высокое обещало скворцу нескончаемую влагу в гортани, обещало ирей, вырей и другие сказочные края. Иногда скворец после долгих отрывочных выкриков, словно бы затуманившись мыслью, повторял чьи-то далекие и грозные слова:

– И будешь вменять в пр-р-рах золото Офир-ра!..

Третий день жил скворец у Осиповны, а за ним все не приходили.

В конце концов, крики про Офир ей надоели. Скворцу, в свой черед, надоели вопросы гражданки Крышталль про ее мутное будущее.

– Пшла вон, дур-ра, – внезапно отрезал скворец.

Дородная Осиповна заплакала, потом в сердцах швырнула в скворца каминной кочергой.

– Отдам тебя, далалай, Кише Мазлику! Вон он, внизу мается. Сейчас сюда пущу. Уж он тебе...

* * *

Володя Человеев отыскал в гараже старую, плотно набитую спортивную сумку и пошел к Осиповне меняться. Содержимое сумки было дорогим и прекрасным: три металлических угольницы XVII века, полученные в наследство от деда-священника! Угольницы эти, кадельницы эти, давно пора было перенести в дом: руки не доходили.

По дороге повеса Человеев встречал знакомых. Иным – кланялся. Встречные удивлялись Володиной богемной одежде. Илья Тюйчев, весовщик и проказник, а кроме того, сосед Володи по гаражу, такую одежду порицал.

Еще один сосед, Бобылев, тоже порицающий, даже выразился в том духе, что пора бы Володю на Колыму или лучше на остров Врангеля.

– Там ему медведи лишнее быстро отъедят. Даже прикрывать конфедераткой ничего не надо будет. А то – ишь, приобрел замашку! Художество в одежде он, видишь ли, ценит... А остров Врангеля в советские времена просто переименовать забыли. Теперь и по давню предательское название оставят, – продолжал жаловаться Бобылев.

Тюйчев, пряча глаза, с ним соглашался.

* * *

Снова чиликнул домофон. Осанна, всхлипывая, нажала на кнопку.

Через минуту раздался звонок в дверь. Мадам Крышталль установила клетку со скворцом в своей спальне, на тахте, на том месте, где обычно виселись подушки, однако вдруг, повинувшись безотчетному порыву, накрыла клетку покрывалом: Кише Мазлику она доверяла, но не всецело.

* * *

Весть о пропаже говорящего скворца дошла до дирекции зоопарка, обогнула дугой Пресненскую управу и, не теряя скорости, влетела в правоохранительные органы. Будучи оттуда изгнана как малоприбыльная, весть мигом долетела до газеты «В охотку». Из «Охотки» – в гламур-журнал «Бедра», а уж после, как и положено, в Администрацию Президента.

– Уху-ху, – качнуло несколькими головами сразу белое и пушистое чинодральское пугалище, – уху-ху и, опять-таки, блин! Только о скворцах нам сегодня и осталось беспокоиться, одни скворечники – спим и видим. В общем, так: скворец ваш – просто спам, мусор из незаконного пространства. Как с мусором с ним надо и поступать!

* * *

Плюгаш и двое Мазловых шныряли по комнатам. Скворца нигде видно не было. Мадам Крышталль немо рыдала в спальне: слезы текли по щекам и падали на кляп, который был засунут второпях, без знания дела, и поэтому застрявшую Осиповну сильно мучил.

– Куда ж она его дела?

– Ну, ведь не сожрала же ты враня этого? Показывай где!

– Может, в камине?

– Где скворец, мымра полоротая?

– Мммыа...

Клетку Плюгаш и братья нашли быстро. Но скворца там не было: Осиповна забыла опустить щеколду на дверце.

– Куда дела, говори!

– Мммыа...

– Стоп. Ты табличку читал?

– Ну.

– Баранки гну! – Плюгаш осерчал не на шутку. – Вы с брательником и правда петушары. На табличке в зоопарке было ясно написано: гракула религиозна и еще раз религиозна.

– И че?

– А то, что дважды религиозная птица вам попалась! А вы ей в клюв сигаретку, опять же табак на перья крошили. Вот скворец и упорхнул. Гляди, у Осиповны окно нараспашку... Верно говорят: недомерки вы!

Скворец выступил из-за портьеры, обогнул платяной шкаф, не спеша прошелся по спальне. То, что скворец не летел, а шел, причем уверенной и четкой, почти людской походкой – выпрямив спину, чуть наклонив голову и при этом слегка поигрывая крылышком, – взбудоражило Осанну и налетчиков не на шутку.

– Мммыа, – опять замычала мадам Крышталль.

– Да заглохни ты!

Скворец пересек спальню наискосок, постоял у открытой стеклянной двери и все той же раздумчивой, но и полной достоинства походкой дзюдоиста третьего уровня, слегка покачивая торсом и к тому ж клоня лысоватую голову чуть влево, направился в сторону кухни.

– Как прынец шествует, – зареготал Мазлов-младший.

– Тихо ты! Не видишь? Прототипам подражает!

– Че? Каким таким типам?

– Пасть закрой, петушара. Серьезным людям, говорю тебе, подражает... Только где ж это скворушка нашего ВВП мог видеть? Ну не по ящику же?

– А вдруг это евонный, ну, я хотел сказать, вдруг это – «вэвэпэшный» скворец? – холодея от ужаса, спросил умный Киша, чье сиро-халдейское имя многих отвращало, но и привлекало кой-кого.

От вспышек истины, сулившей долгий тюремный срок, Плюгаш сел на пол. Скворец вернулся, не торопясь обошел вокруг Плюгаша и, не тратя чувств на растопыривших пальцы Кишу и Тишу, а также думать не думая про заплаканную свою хозяйку, скрылся в кухонном чаду.

Такое невнимание скворца к людям вмиг довело мадам Крышталль до нервного срыва. Она стала метаться по тахте, биться затылком о стенной, толстый ковер.

Первым опомнился Мазлов-младший. С криками: «Да ему просто лень по́рхать! Вот он и подражает важным лицам!» Тиша ринулся за скворцом на кухню.

– Щас он ему «Общество защиты животных на кухне» устроит, – забеспокоился умный Киша.

* * *

К Осиповне Володя опоздал. Встретил по дороге Дашутку Дрееву из журнала «Бедра» и, как раненный электропулей, замер. Дашутка манила его давно. Но сама на Володю – ноль внимания, фунт презрения.

– Гламуризация информационного поля... – пропела вместо приветствия Дашутка, – во как она меня достала, – интимно провела девушка по своему горлу острым ноготком.

– А чего это она тебя достала? – заморгал светленькими ресницами Володя.

– А не знаю. Достала – и все. Ну ладно, пока, – тряхнула золотистыми прядями Дашутка.

Володя долго смотрел Дашутке вслед, пытаясь определить, можно ее пригласить в ночной клуб «Распутин» или об этом нельзя и мечтать?

Наверное, как раз поэтому, увидав через несколько минут сквозь полуоткрытую дверь распростертую на полу Оксану Осиповну, Володя, еще оглушенный встречей с Дашуткой, сообразил не все и не сразу.

Ханадей, Ханадей, пташечка...

В течение дня, пройдя еще через три пары рук, скворец-майна – четырех лет, русско-говорящий, звукоподражающий – предстал перед финансовым воротилой, а в просторечии плутократом Вавилой Ханадеем.

Число души Вавилы было равно цифре 4. Этим числом Ханадей со страшной силой гордился и на летних праздниках часто появлялся в футболке с четвертым номером на спине.

В тот день Вавила Ильич был весел и на скворца глянул дружески.

– Какими языками, кроме русского, владеете? – огорошил он священную птицу неожиданным вопросом.

Скворец спрятал голову под крыло.

– Так... В молчанку играть будем? – Ханадей ударил по столу резиновой дубинкой, а потом трижды зажег и выключил настольную лампу.

– Ты гля, как он с ним чутко, по-людски как... А мог бы сразу на кухню, – восхищенно шептались у приоткрытой двери две хорошенькие, разгоряченные паром и варом и поэтому полуголые кухарки.

– От чоловік, от работяга, нам бы такого у рідний Хуст!

– Та там своїх з резиновими дрючками до біса!..

Не особо советуясь с мыслями, Вавила расстегнул малиновую рубашу, почесал рыжеватую грудь и снова заговорил со скворцом:

– Вот ты, к примеру, птица. А я, если разобраться, человек. Ну и чем ты лучше меня? Не жнешь, не сеешь, а жратву свою каждодневно трескаешь. Выходит – ты сачок и бузила. Таких на принудработы надо! Ну, отвечай, – не унимался Вавила, – чем ты лучше? Скажешь – дам клюквы в сахаре.

Скворец выпростал голову из-под крыла, глянул устало в дымно-зеленые ханадеевские очи.

– Задумался? Или говорить со мной не желаешь? – вдруг до корней волос покраснел Вавила. – Так это мы проходили. Я – Ханадей! Не можешь – научу. Не хочешь – заставлю. Будешь у меня не скворец, а сквор! Эй, засони! Несите сюда говорящего попку, пусть научит этого сквора конкретному базару!

При виде серого жакко скворец рассвирепел. Он скакнул со стола на пол, потом ловко вспорхнул и долбанул попку, разнеженно сидевшего на руках у ханадеевского лакея, прямо в голову. А напоследок выщипнул из пышного попкиного зада пучок перьев.

Раненого жакко несли назад как умирающего воина: на бархатной алой подушечке. Ханадею сцена птичьей схватки понравилась.

Он позвонил дворцовому:

– Сквора этого не трогать, а попку долбанутого отдайте на кухню, вечером угощу гостей новым блюдом: попуганом шинкованным...

Прохаживаясь по кабинету, Ханадей продолжал размышлять:

– Ты, говорят, походке важных лиц подражаешь. А изобрази-ка ты мне походку товарища Сталина. Жуть как я по нему теперь соскучился. Крылышко, как ручку сохлую, – этак к груди. Усы тебе, знамо дело, привесим. Голову набычь – и пошел косой косить, пошел крылышком подрезать!.. Или нет. Изобрази-ка мне подлеца Андропова... Очки золотые тебе миглом доставят. Опять не желаешь? Тогда последнее творческое задание: Борис Николаевич Ельцин у трапа самолета. У меня и запаска в кабинете есть. Омочи, как говорится, колесо росой!

Возмущению священной майны не было предела.

– Не жру, не сру, вам, дур-ракам, подр-ражаю. А клюв – он не железный. И ноги! Они – устали. Ты Ханадей – кос-сая р-ряха! И ц... ц... цкоморох!

* * *

Володя Человеев принадлежал к полуинтеллигентам. Так произошло потому, что отец его не учился прикладной лингвистике, мать не бегала в МХТ к Табакову, да и жил Володя до поры в Ногинске и лишь к двадцати пяти годам переехал в Москву. Но при этом запас совести им истрачен не был, краешки души от гнильцы не почернели!

В силу этих внутренних качеств Володя сам от себя сурово потребовал срочно углубиться в словосочетание «Офирское царство». Может, после такого углубления станет ясно, кто и зачем заказал скворца.

При этом Володя, раньше посвящавший богеме все свои труды и дни, стал вдруг слово «богема» передразнивать, а саму богему, сосредоточенную в умопомрачительных местах Москвы, слегка презирать. Словом, Человеев занялся науками. Для начала он ознакомился с одним из трудов князя Щербатова. Труд назывался «Путешествие в землю Офирскую господина С., шведского дворянина».

Сильного впечатления этот памятник русско-шведской мысли на Володю не произвел. Князь Щербатов оказался умен, речист. Однако про саму Офирскую землю интересного сообщил мало. Конечно, князь не мог все высказать прямо, оттого и придумал шведского дворянина. Кое-какие мысли князю приходилось, еще до нанесения их на бумагу, то есть в себе самом, извращать. Это делало книгу двуличной, неприцельной.

* * *

Стал искать правды у князя Щербатова и Вавила Ханадей. Натолкнул его на это советник по кадрам, ученый сукин сын кандидат Перетякин.

– Щербатов хотел военных поселений и полицейского порядка. Но при этом вовсе не Третий Рим, а Офирское царство представлял себе как образец будущей России, – нашептывал на ухо Вавиле ученый сукин сын.

Возражения Вавилы были тверды и монументальны.

– Третий Рим – ересь. И четвертый тоже. В крайнем разе согласен на Четвертый Крым. О поселениях – надо подумать. А про Офирское царство – жду не от тебя, морда перетякинская, жду от скворца!

Беседа двух интересующихся историей людей протекала в ханадеевской оранжерее. Она и дальше продолжилась в том же абсурдно-велеречивом ключе.

Вавила обламывал головки мака и любовался густым соком стеблей. Перетякин любовался Вавилой. Вдали скучал скворец.

* * *

На третий день пребывания у Вавилы скворец как бы нехотя произнес:

– Офир-р – есть оп-пережающее от-тражение действительности.

– Кто тебя научил, дурак? – взвился Ханадей.

Слова про опережающее отражение упали словно бы откуда-то сверху, царапнули коготком стеклянную дверь и за этой дверью пропали.

– Ты лучше вот что выучи: откаты в России, тире, миф.

– Тир-ре – мифф. Тир-ре – мифф.

– Да не само тире. Тире для наглядности! Ладно, кончили про миф. Выучи так: Четвертый Крым! Авань, нам с тобой пригодится.

– Кр-рым – сила Р-россии.

– Ух ты, складно. Это запомню. Только что мы все о политике, птица? Давай песню. Вот про меня в Счетной палате сочинили: «Ханадей, Ханадей пташечка, канареечка жалобно поет! Раз пером, два пером, три пером...»

Царапанье коготком по стеклу возобновилось.

– Кто тут? – по-серьезному взволновался Вавила.

Из-за дверей никто не отвечал. Ханадей подошел на цыпочках.

– Я – от-клонение Офир-ра... Конец концов близ-зок, петушар-ры!.. – защелкал в спину Вавиле хамоватый скворец.

Не дойдя до дверей, Ханадей вернулся, набросил на скворца футболку № 4. Дверь отворилась сама. На пороге стояла синевласая Дицея.

– Фу-у, Дичка... Ты?

– Как муштра птиц?

– Хуже некуда. Ну его на фиг, этого сквора. Для большого человека хотел несколько штукам выучить. Так он, дурак, дрессуры не понимает... А пойдем к тебе на массаж?

– А пойдем.

Скворец склонил голову набок, сделал вид, что заснул.

И свалился за горизонт мысли рыжеватый Вавила, искрошился мир человеческий, терзавший непонятными запахами, но и увлекавший делами и поступками. Налег птичий, ни с чем не сравнимый, рваный и путаный сон!

Птичьи сны были на удивление бессюжетны и пустоваты: то земля вдруг делалась блюдцем, и это блюдце опрокидывалось кверху дном. То небо всем своим голубоватым оперением ложилось на землю. Но всякий раз пернатые сны заканчивались одним и тем же: птичьими чертогами, птичьим престолом и птичьим царством.

В царстве птиц людей не было ни души. Были похожие на людей существа, но они не ходили – летали. При этом разговоров не говорили: все время пели. Но, опять-таки, не стихами, а звучной короткой прозой.

* * *

Вечер подступил незаметно. Скворец заговорил снова.

– Пут-тину – р-решпект! Импер-ратрица – в Тавр-рическом! Конец концов – близок! – Как отголосок славы былых времен и перекличка с временами нынешними прозвучали эти неожиданные слова.

Все разом притихли. Первым опомнился Вавила:

– Да накинь ты на этого балабона платок! Кому говорю, Дичка!

Но синевласой Дицей в те минуты в ломберной уже не было.

Игра продолжилась. В ломберной предпочитали буру и сику.

Таксидермист (а по-простому – чучельник) Голев, раздувая ноздри, голосом сушеной воблы трескуче наставлял:

– Ты, Ханадей, не шустри. Сам Дицею отослал, а делаешь вид, что забыл. А отослал ты ее, чтоб в карты не продуть. Я слышал. И правильно, и молоток! А тогда давай мы на твою птичку сыграем. Ты, я вижу, от слов птичьих вздрагиваешь, даже до того дошел, что правителю нашему здоровья и славы пожелать не хочешь. А мы все это бесплатно терпи?

Таксидермист обвел игроков в сику цепким миротворческим взглядом.

– Вот назло тебе крикну: ура и слава! – приподнялся со стула Вавила.

Лысостриженный Пленкин, припомаженный, с женскими, загнутыми кверху ресницами Сучьев – ему вдогон сверкнули улыбками.

– Так ты ставишь скворца на кон или нет?

– Майна религиозна, – заважничал Вавила. – Тут большими деньгами пахнет. Отвечать вам по полной, скоты, придется.

– Пять тонн зеленых – устроит?

– Маловато, но разве уж для почину...

Священную майну выиграл Голев.

В ту же ночь, ближе к утру (подарив выигранную вслед за птицей Дицею назад Хан-дею), таксидермист спрашивал скворца:

– Вот сидишь ты здесь, а сам – чепушило и чмошник! Битый час я тебя пытаю. Ни словечка в ответ. А тогда какой тебе смысл вообще существовать? Какой смысл, говорю, тебе живой птицей оставаться? Лучше, уж ты поверь мне, чучелом тебе стать. Выставлю тебя в театре Маяковского, пищик внутрь вставлю, будешь красным клювом клацать, народ коммунизмом суровить. И этим, как его... Офирским царством!

В голове у таксидермиста было – шаром покати. В доме тоже пустовато. Не любил Голев лишнего. Только барсучья шерсть и мороженые лапки, только полированные подставки с каллиграфическими табличками и сладко подванивающие молодым пометом птичьи перья.

– Ну, отвечай, как оно там, в Офире? Говори! Распотрошу вмиг! – Воблистый голос треску посбавил, появились в нем напор и сила.

– Хор-рошо в Офире!

– Значит, это страна такая? Ну, скажи: Офир – дурацкая страна!

– В Офир-ре – душетела!

– Ладно, пускай. Чучелам ведь все равно: что в царстве, что в душетелесном анархо-государстве. Деньги, деньги, главное, там какие? А то окажутся драхмы или гривны, мучайся тогда с ними, как с хохлами.

– Денег – нет-ту.

– Ну, тогда я тебя правильно в красный театр определил. Опять коммунаками пахло. Денег нет – счастье сдохло! А за твое чучело я с Вавилы и его слезоточивой Дицеи хорошие бабки сниму. Они будут квакать – я смеяться. Ну и напоследок: тещи в Офире, они какие?

– Нет-ту тещ-щ.

– Быть того не может! Если так – срочно туда! Как проехать?

– Н-нельзя – пр-рехать.

– Дура, бестолочь! Да я завтра же там буду!

– Через тыщц... Через тыщу лет будешь.

– Врешь, дурошлеп. Не я, так наследники мои скоро там окажутся.

– Не будет наследников. Не будд...

– Да я тебе за них!

Голев хотел ударить скворца, ходившего по краешку стола, березовым пеньком, но передумал, накинул на птицу замшевый пиджак. Пиджак взбугрило шатром. Таксидермист послушал тишину и пиджак с птицы сдернул.

– Как это: не будет наследников? Отвечай, стервец!

– Нет – л-любви, нет – нас-следства...

– Врешь! Есть же это... как его? Духовное наследство!

– Петушар-ры дух не наслед-д-д...

Воблистый Голев решил дать скворцу передышку. Он и сам подустал чуток. Пустая комната вдруг показалась дурной приметой. Чтобы освежить восприятие жизни, таксидермист сходил в мастерскую, приволок оттуда чучело белой собаки.

- Видишь – чучело? Как раз напротив этой собачки скоро стоять будешь.
- Скворец собаки не испугался.
- Чуч-чел – не б-будет.
- Заладила сорока Якова одно про всякого! Завтра проиграю тебя взад.
- Не проиграешь. Не проигр-ра...
- Пиджак из оленьей замши укрыл птицу надолго.

* * *

Вечером офонаревший от птичьих словес Голев понес скворца назад: возвращать с поклоном Ханадею. Борода его красная, борода узкоконечная, с вплетенными в нее прозрачными шариками, при этом резко вздрагивала.

Но скворца по дороге уперли.

Было так: не успел таксидермист выпить рюмку-другую в ресторане Центрального дома литераторов, не успел зажечь спичку на ступенях этого чертога мысли и грез, куда его как творца зверских образов приглашали на бесплатные ужины со знаменитостями, как вдруг, откуда ни возьмись, – цыганка! Да не одна, с выводком ребятенков...

Пока цыганка сорила ужимками и турусила околесицу, клетку со скворцом, мешавшую отмахиваться от этой дуры и поставленную меж ног на ступеньки, кто-то одним пухом упер.

Nuda veritas. Колоброд и скворец

Что есть русский повеса, русский колоброд – сегодня?

Узоры на ногтях и печаль в глазах? Ценные бумаги Газпрома и смутные связи в Лондон-сити? Не только. Нынешний колоброд – это невыводимая тоска по настоящему делу и безделье на всю катушку. Это мимолетные девушки и постоянные, сующие пачки кредиток в задние карманы брюк белозубые старухи. Это вяловатая речь и острые поступки, это протест против экономической политики тех, других и третьих, но в то же время и наплевательское отношение к любым действиям любых властей.

Нескончаемое, сладчайшее колобродство! В нем – тяга к утонченной разухабистости и пьяному философствованию, вспышки первобытного веселья при виде ползущего по Москве питона и презрение к российским горестям, мохнатая печаль, царапающая висок лапой белого медведя, и свинцовый ужас, связанный с возможной потерей золотовалютных домашних резервов!..

Человеков искал скворца и думал: не будь он повесой, искать было бы куда паскудней. Без навыков и сметки, ежесекундно учась сыскному делу, обламывая полированные ногти и прижимая к вискам все новые и новые носовые платки, беспричинно смеясь и заламывая оглушительную радость, как ту конфедератку, на ухо, бродил он по Москве, преодолевая вытянутые в длину, подобно изумительным строкам лермонтовской прозы, переулки: от Брюсова до Калашного, от Петроверигского до Старопанского.

Дурашливость и лень хорошо освежали ум, делали его быстрым, радостным. Развязывая переулочную путаницу и кривизну, Володя не раз и не два повторял давнюю поговорку: «Повесничанье не промысел, а жить научит!»

* * *

Дома у цыганки Стюхи ветвился тропический сад. Священный скворец попал к Стюхе случайно, и она, быстро уяснив ничемность птицы, отказавшейся клевать садовых гусениц и тарабарившей про будущее одну голую правду, сказала:

– Про будущее нужно сказки сладкие складывать! Дай русскому сказку – ему и жены не надо. А Офир – что за сказка? Деньги не каплют, дрязг никаких, сиськи едва прощупываются. Кому такое царство на хрен нужно?

Скворец обиженно молчал.

– В том шатре давно потолок отцвел, – спела равнодушная к птицам цыганка, и скворец был продан в Институт искусствознания.

– Там тебя, дураля, быстро голодом уморят, – крикнула птице вслед тропическая Стюха, остро поцывая слюной на рубашки новеньких карт...

Институт искусствознания скворца напугал. Он теперь вообще пугался многого: озоновых дыр во тьме ночей, хищного разреза ноздрей и жадности двуногих, продажности женщин и, особенно, продажности мужчин.

– В Офир-ре – не то. В Офир-ре – не так!

Институт искусствознания недавно закрыли, тепло отключили.

Искусствоведы тупели и мерзли. Правда, свет в помещении еще горел. Это радовало, и научные сотрудники под слабенькие электровспышки продолжали разыгрывать друг перед другом истории из жизни падших теней.

На скворца ведуны искусства внимания особо не тратили: отчитывали министров, превозносили, а потом «опускали» вильну Украину, пили осветленный чай, призывали назад ими же самими тысячу раз охаянную советскую эпоху.

Из холодающего института скворец был продан в Союз креативщиков: за две тысячи рублей, плюс три пачки цейлонского чая и альбом художника новых реальностей Валентина Окорокова.

В СК было тепло, как в духовке! Тихими фонтанами звенело стоцветное электричество, сладко шевелились черви в цветочных вазонах. Вопреки гадкому имени «креативщик», сильно пятнавшему славу Союза, а по звуку напоминавшему удар молотка по черепу, тут плавал аромат натурального колумбийского кофе.

Первым приветствовал скворца Лазарь Подхомутников, секретарь по международным вопросам.

– Люди – те же птицы, только без крыльев, – режущим уши голосом высказался Лазарь, – поэтому никаких скворцов нам даром не надо. Мы сами госпросо клевать умеем, сами поем-щебечем. Расчихал, звяга?

– Сам-м зв-вяга! Сам-м-м!

– Ну, верещага. Вообще молчи, угод! – обиделся Подхомутников и внезапно поежился от страха.

С какого-то бодуна влетела в голову Лазарю история про метущего захарашенный двор писателя, которого ему напомнил говорящий скворец.

«Чем? Носом-клювом? Метлой? Наклоном головы? Укором глаз? Черт его знает! А только напоминает, стервец пернатый, этого дворника, и все!»

Тут память и подкинула: молодой Лазарь, еще студент, идет собственной персоной мимо памятника Герцену-перцену и вдруг видит, и вдруг слышит! Безбашенный этот писака, тряся в углу сквера метлой и по временам задирая ее выше головы, грозит вымести из Москвы всю ненужную писанину, всю хроно- и хренофрению: как сор, как листоблошек и мертвоедов, как двухвосток и гессенских мух, как журчалок и красноклопов бескрылых, как древогрызков и короедов, насквозь прогрызающих тела осенних, пахучих, с приятной желтинкой листьев!

Этого, с метлой, Лазарь из своей памяти вмиг удалил. И тут же услышал заполошный перелив: как та юная велосипедистка, летящая под грузовик на дачном проселке, дикой трелью залился скворец!

Трелей Подхомутников не любил. И потому с легким сердцем продал скворца первому попавшемуся дуралею, отметив про себя шелковый шарф и невиданные фиолетовые штиблеты свалившегося, как снег на голову, покупателя.

* * *

Скворец был куплен Человеевым втридорога и за пазухой унесен домой, во 2-й Неопалимовский переулок.

Жизнь со скворцом внезапно увлекла холостого Человеева больше, чем попеременная жизнь с Таней, Яной-Изольдой и Павлой Кузьминишной, а также с госпожой Мумджиян, заместителем директора одного из лучших магазинов развесного чая в Москве на Мясницкой улице!

Володя ходил со скворцом на плече по застекленному портику старинного дома, где владел нехилой квартиркой с двумя эркерами, и наслаждался глинистым птичьим запахом, а также легкой плотностью скворцовых крыльев, когда тот их неожиданно раскрывал.

Иногда Человеев со скворцом дружелюбно беседовал. Особенно после тихо-запойных чтений в Российской исторической библиотеке.

– Да, я повеса, – говорил Володя, – прожигая я, бульвардье, шалыган и голошмыга к тому ж. Но вообще-то – я книжный пьяница.

Скворец неопределенно отводил взгляд в сторону, но потом, словно бы спохватившись, красноклювой с желтыми заушьями головой согласно кивал.

– А скажи-ка ты мне, Христа ради, правда это, что скворцы – и мужики, и бабы одновременно?

– Непр-р-рафф... Непр-р-рафф... – захлебывался от горечи скворец.

– Так ты у нас мужик?

– Муж-жик, муж-жик... Не вер-рещага, не звяга...

– Значит, пули льют про скворцов, косые ряхи? А ты просто выбрал, что ты мужик, и ты стал мужиком?

– Стал-л, стал-л! Кос-сые р-ряхи, в конце концов...

– У меня характер странный, – жаловался Володя скворцу. – Русский-то он русский, но чего-то истинно русского ему вроде недостает. И главное, чую, не воспитать мне в себе это недостающее! Вот бы кого рядом для восполнения качеств поставить. Понимаешь ли ты меня, душа моя?

Скворец соскакивал на пол, шаркал лапкой, густо встряхивал крыльями.

– В общем, второй Володя мне нужен. Alter ego. Ну, ты в латыни слабак... Словом сказать, нужен мне близнец духовный. Похожий на меня, но не я!

По временам, говоря со скворцом, Человеев, неукротимо любивший женщин, останавливался и задумывался. Нет, он не переставал обожать прекрасные, недостающие до создания идеального тела половинки! Но когда в бокалах страсти оседала ночная муть, вдруг наплывало на него чувство восторга и осязание какой-то сверхлюбви: то ли к нереально возвышенным женщинам, то ли – вообще без них...

– Ух, – говорил, возобновляя ходьбу, растревоженный мыслями повеса, – ух, Святтик! Как бы это так сделать, чтобы любовь была не по расчету – чего в Москве теперь хоть отбавляй – и не так чтоб беспорядочно свободная. А была бы, как это?... Истинной, святой и в то же время кипучей. Дико плотской, но и безумно духовной. Вот любишь ты бабу, одновременно любишь Космос и вечную жизнь, и в те же секунды стараешься доставить бабе неслыханное наслаждение. Словом, как говорили древние, – *nuda veritas*!

– Ой, да ну, да ну, да ну... – вдруг поволокло скворца в цыганщину.

– Нет, не так. Ты не понимаешь. И то и другое!

– Крутой лямур-р, гр-руповуха...

– Но тут я с тобой, Святтик, не согласен! Едкую нежность цинизма – обожаю. Но, Святтик, не настолько же!

– Я не Свят-тик, я майна. Майна, майна, кор-рм!

– Ты спой лучше. Или дразнилку скажи.

– Пут-тину слава. Пор-рох – дур-рак! Веч-чер. Засада. Дым и тр-рупак.

– Брось эти лозунги! Кто тебе только их в голову вбил? Креативщики, что ли? Лучше спой стихом. Как я тебя учил... Ну, не хочешь, я сам спою.

Человеев зашагал по галерее стремительней. Тело его наполнилось сотнями неболезненных иголок, и он, подобно скупающей без полетов птице, едва не взлетал над землей. То глядя на собственные, и дома не снимаемые штиблеты, то любуясь синью застекленного портика, замурлыкал он под нос любимое: «Каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу, для зверей приятель я хороший, каждый стих мой душу зверя ле...»

Звон разбитого стекла прервал песенку Человеева.

– Опять эти придурки! Ну, я им...

Дзета

После обеда, кое-как залепив разбитое окно армированной пленкой, Володя стал собираться в банк. Затем он решил отправиться в ночной клуб «Распутин». Сперва Человеев хотел взять священную майну с собой и так и пройти через весь Зубовский бульвар со скворцом на плече. Но передумал, оставил птицу дома: до вечера было далеко, и просто так таскать скворца по Москве не хотелось.

А вечером, на Зубовском, у входа в ночной клуб, Володю ждала неожиданность, или, как писали в исторических сочинениях, – реприманд.

– Человеев Владимир Виктогович? У меня к вам пагточка вопггосов. Я стаггший дознаватель Осадчая. Действую по поггучению межггайонной пггокуггатугы.

– Как вас зовут, мисс Осадчая?

– Это неважно. Пггосто – госпожа Осадчая.

– А все-таки?

– Ну, если так интеггесно – Дзета Львовна.

– Пойдемте в клуб, Дзетуля... Там пощечечем.

В ночном заведении народу было – не так чтобы. Если честно, до неприличия мало. Человеев уже с месяц клуб имени Григория Ефимовича не посещал, был малолюдством смущен, если не сказать раздосадован.

«Эротику, что ли, все скопом разлюбили?»

Блюдоносы были прежние, старший вышибала Ахирамов – до дрожи тот же: и кулачищи, и заклеенная пластырем переносица, и щеки буграми. Только вот улыбка у тайца Ахирамова была другая: не гаденькая, не изничтожающая, – сладкая, молодая!

Двигалась обслуга тоже как-то странно: приставным шагом и часто кланяясь. При этом служащие вели себя намного сдержанней: на сцену, висившуюся в правом углу заведения, ломая шеи, не зазирали, матерщиной не сорили.

Володя огляделся: девочек – тоже пока ни одной.

«Это хорошо. А то вдруг дознавателю девочки не понравятся?»

– Ну, хватит по стоггонам глазеть! Отвечайте на вопггос, когда вас стаггший дознаватель спггашивает!

– А был вопрос?

– Ты чем слушаешь, Филя? Тебя спггосили: где птица?

Внезапно на высокий просцениум выперся бородатый парень в холщовой свитке, в аптечных слепо-синих очочках.

– Наш Распутин – не love mashin! – крикнул козым голосом бородатый. – Он есть о-отшень, о-отшень святой. Скоро вы услышите рэп-оперу. Етто будет действо из жизни велики русски старца, а не велики русски распутник!

Володя едва заметно скривил губы. Клуб «Распутин» ему нравился, но не слишком. Потому и дорогу сюда он стал потихоньку забывать. А тут – слепенькие очочки, обещание «священного действия» и вполне вероятное переписывание биографии старца Григория, о чем любивший историю Володя сразу же догадался. Для ночного клуба переписывание истории было делом неподъемным и, если уж правду сказать, – ни в какие ворота не лезло!

Человеев про себя чертыхнулся, потом неожиданно на весь зал крикнул:

– Черного кобеля – не отмоют и дембеля!

– А мы будем пробовать его отмывать! Ви должны узнать исторический правда, через нашу рэп-оперу. Ви... эээ... не должны верить в исторический ложь! – заблеял в ответ бородатый юноша.

– Знаешь что, бундес? Подслащать историю – это беспредел!

– Сейчас вы будете все как на духу узнавать! – раскрыл перед собой руки немецкий сторонник выправления биографий, а потом вдруг, словно изгоняя надоедливых ос, кипуче затряс бородой.

– Так вы имеете отношение к похищению священной майны? – звякнула голосом, как стальным браслетом, дознаватель Осадчая. – Или меня навели на ложный след? – уже тише, наклоняясь к Володе, спросила она.

– К похищению – нет, не имею.

– Пггедупггеждаю вас о даче ложных показаний.

– Вы хотели сказать, об ответственности за нее?

– Ну, об ответственности. Какой щепетильный! Так я повтоггю вопггос: что вам известно о похищении из зоопаггга птицы под научным названием, – дознаватель заглянула в бумажку, – «гггакула ггелигиоза»? Есть у вас пггедположения, где тепеггь может находиться эта птица?

– Вы будете смеяться, но я эту религиозную гракулу позавчера как раз купил. И теперь птица наверняка орет что есть мочи у меня дома.

– Вот как? – не веря в такую скорую удачу, Дзета подозрительно отстранилась. – Вот как? Значит, купили птицу у похитителей и пггги этом...

– Не думаю, что это были похитители. Продал мне скворчагу секретарь одного тихомного Союза. И слупил, жаброног, втридорога. Но думаю, и к нему скворушка попал случайно.

– И вы утвеггждаете, что сквоггец тепеггь у вас дома?

– Утверждаю, детка, утверждаю.

– Тогда немедленно к вам!

– Не мог и мечтать, Дзетуля! Вы такая сдобная, такая миниатюрная, вы... Словом, вы мечта одинокого вечера!

– Подлец уголовный, – вполголоса огрызнулась Дзета и, позванивая драгоценностями, упругим танцевальным шагом пошла в гардеробную.

Уже покидая клуб, Володя услышал новые рэп-откровения из жизни бесподобного старца:

– И явился ф туманни Петербурх сфятой старец. Дру-ту-ту-ту! Но не все етто сразу поняли. Друмс! Многие отшень опоздали етто понимать! И тогда старец, друмс-друмс, пошел на поклон к царю-батюшке и царице-матушке. Долго стоял он перед их покоями, согнувшись в поклоне. Начало уже светать, друмс-друмс, как внезапно мелкий отрок вышел к старцу.

– Идем со мной, – сказал отрок, – я проведу тебя, дру-ту-ту, в царски покои.

– В покои? В царски? – отшень-отшень, до слез испугался сфятой старец... – Не могу я, друм-диди-рум, в покои. Не чист еще сердцем и телом!

– Так очищайся сей же час, – повелел отрок, и старец, винужденный бил снять рубаху, а затем и порты. И тогда, друмс-друмс, и тогда...

Рэп-сказочка про белого бычка взбурлила круче, сильней.

Дознаватель и повеса стремглав выбежали вон. Призрачным лошадиным потом и вдогон бледно-эротической гуашью сбрызнула их удаляющиеся фигурки мартовская московская ночь.

* * *

Володя умышленно водил госпожу Осадчую кругами.

По дороге он декламировал, пел, припадал на одно колено и подарил Дзете бережно вынутый из кармана складной фиолетовый цветок.

В Неопалимовском, в прихожей, заботливо раздевая дознавателя, Володя мурлыкал: «Я тебя обманывать не стану, залегла тревога в сердце мгlistом...»

– Молчи, шагглатан, – прикладывала душистый пальчик к Володиным устам увлекаемая внезапным чувством Дзета, – и хватит мне тут блатной лиггики! Иначе я тебе статью за хулиганку пгипаяю...

– Ну и пусть...

– Где сквоггец? – выпутываясь из остатков одежды, ласково пыталась Володю старший дознаватель.

– Да здесь он, здесь... Сейчас позову. Майна, майна, корм, – усадив дознавателя на себя верхом, поманил пустоту Человеев.

Скворец не отозвался.

– Ладно... Потом... Еще подсматггивать будет...

Через двадцать минут, туго затягивая пояс на белой навывпуск блузке, Дзета хозяйственно осмотрелась.

– Да на кухне он. Любит, знаешь, туда наведываться.

– Он у тебя что – летать ггазучился?

– А почему это? Летает. Но больше ему пешедралом нравится. Походкам важных лиц – но это между нами – он подражает. Еще птичьим и звериным походкам. То воробыным шагом просеменит, то по-медвежьки прокосолапит, то вороной проковыляет. Но чаще – Путиным выступает. А один раз как Горбачев ноги в стороны здесь раскидывал. Сейчас увидишь!

Володя сходил на кухню. Ни там, ни в ванной скворца не было. Человеев влез под шкаф, сунул голову в стиральную машину. Пропал скворец с концами! Володя повернул голову, заметил в окне разодранную пленку...

– Надувала, хлюздун! – истерически крикнула Дзета. – Я тебя спггашиваю, где сквоггец! Паскудник, какой паскудник! Ты не знаешь, кого обманул, не знаешь, кого на дуггняк использовал...

Звончатая пощечина прозвучала едва ли не на весь Неопалимовский.

– Собиггайся, живо! Я тебя задеггживаю на тггое суток, – продолжала нахлестывать Володю по щекам любвеобильная Дзета, – у меня дома будешь аггест отбывать.

Володя сел на тахту, смахнул со щеки слезу. (Не от боли, не от стыда, от неожиданной разлуки со скворцом слеза набежала!)

– Украли... Через форточку... Ты это дело расследуй поскорей!

– Хватит тут вггать мне!

– Да пойми ты, Дзетуль! Никому я скворца не отдал бы. Мне не Гришка свято-беспутный нужен, – выходя из квартиры, убеждал дознавателя Володя, – скворец священный необходим! Понимаешь? Только птица по-настоящему священна. А человек – что? Человек – дрянцо...

Тлин

Священный скворец, в десятый раз украденный и перепроданный, угодил в театр случайно. И ведь не в какой-то театр погорелый, в театр Ионы Толстодухова, в «Театр Ласки и Насилия» угодил он!

Сами актеры называли детище Ионы по-другому: ТСТ. Полностью – «Театр смертной тени». И это при том, что во всех бумагах толстодуховский монстр значился как «Театр Клоунады и Перформанса».

А до попадания в театр со скворцом произошло вот что.

Братья Мазловы – Киша и Тиша – выследили-таки Володю с птицей! И после обеда, пользуясь безлюдьем 2-го Неопалимовского переулка, вытащили скворца через окно. Однако тут же, на месте, жутко разодрались, и скворец ушел гулять по Москве один.

Скворец шел на своих двоих и заливался велосипедной трелью.

Правда, вскоре трель оборвал: стал подражать игре тромбонов. Потом изобразил крики слонов.

Остерегаясь в людных местах кричать «Ура правителю!» и не желая в ответ на свое «Слава имперским вольностям!» услышать «Конец имперским мерзостям!», он дразнил народ соловьиным щекотом, переливал тихой иволгой, как из стакана в стакан, московский мартовский воздух.

На шее у скворца смешно болтался слюдяной новогодний пакетик с торчащим из него краешком розовой канцелярской бумаги. Пакетик прицепили птицелюбы-искусствоведы. Умеющему говорить, но, ясен пень, не умеющему читать скворцу этот пакетик добавлял отваги и стойкости.

В боковом скверике, у краснокирпичного, старой постройки здания скворец остановился: перевести дух, счистить с перьев грязь. Он прошел долгий путь и сильнее грязи был облеплен равнодушием обывателей, которые на идущую пешком и рычащую тромбонами птицу поглядывали косвенно или не глядели вовсе.

– И не такое видали! – словно бы хотели сказать, но отчего-то не говорили уставшие от всякой порхающей ерунды жители Москвы. – У нас тут каждый день родное правительство кенарями выщелкивает, биржа вороньим карком душу рвет, ЖКХ в печные трубы филином ухает...

Поразило скворца и почти полное отсутствие собак и вражески настроенных кошек. Хотя другие хвостатые близ складов и сосисочных отвратными красными глазками и мерцали. Но эти хвостатые скворца жутко боялись: стоило ему зашипеть змеюкой, как они замертво, с разорванными внутренностями, падали в канализацию и другие сточно-помойные места.

Отдохнув в скверике, вросшем в стену старинного купеческого здания, священный скворец уже хотел было перелететь ближе к окраинам – туда, где народ грубей, но и добрей, девушки бедней, но и сильно ласковей, где меньше суеты и больше простора для пения, неостановимо рвущегося наружу из нежной полости, именуемой нижней гортанью, в которой расположены птичьи голосовые связки, вместившие в себя тысячу беспокойств, тысячу ударов крови в минуту!

Тут Иона Толстодух – смелый перформатор и постановщик игр смертной тени, добавлявший к своей фамилии окончание «ов» только на афишах и в научных статьях, – скворца и заметил.

Он бережно подхватил оторопевшую птицу под брюшко, бегом кинулся в здание театра, собрал всех находившихся в тот час актеров-дольщиков в зрительном зале, выперся

на сцену и, хлопотливо ощупав скворца, как ощупывает хозяйка домашнюю курицу, перед тем как хохлатка снесет бледно-синюшное городское яйцо, произнес:

– К вам. С птицей! Непростая. Не какая-то – ptiza.ru. Птица-перформанс! «Жизнь и несвобода одинокой птицы в Москве, с шутовскими персонами, клоунадой и школьным гаерством», – так будет называться наш новый перформанс. Теперь-то наша комедийная хранилища зазвучит на всю Москву! Стопудово! Хватайте и действуйте, челядинцы. – Иона выпустил скворца из рук, и тот, отряхнувшись, пошел в глубину пустой сцены.

– Мы не челядин-н-н-н... – загудели колоколами в темноватом зале, подсвеченном одним тощим рабочим фонарем, который горел высоко, под самой крышей и не высветлял ничего, кроме редкой и острой пыли, недовольные Ионой актеры.

– А как же перформанс по Сухово-Кобылину?

– Вместо Кобылина запускаем скворца, – отрезал Толстоухов, – я на секунду... – И удрал, хамло, за кулисы.

– Ком-медийная хр-р-рамина... Х-хватайте и д-действуйте, – повторила из глубин сцены ошеломленная птица.

– Ты глянь, говорящий!

– На Птичий бы рынок его сейчас.

– Думаешь, дадут цену?

– А то...

– У нас, прошу заметить, – ТЛИН, а не «Садовод» вьетнамский!

– Так-то оно так. Только театрик у нас какой-то зауженный, одни перформансы, а клоунад – раз-два и обчелся. И сцену зачем-то в фойе переместили. А фойе – на сцену. Неудобно же...

– Теперь полагается говорить не «фойе», а «променуар».

– Про что, про что?

– Ну, это прогулочный зал, Егорушка. Променуар – по-французски.

– А я вот не понимаю: чем зрителю до спектакля на голой сцене развлекаться? В фойе – кукуруза и кола, а здесь – щели в полу и опилки!

– Сказано вам: репетиция – на сцене, представление – в фойе. В этом новизна, в этом резкая неожиданность.

– Так-то оно так, но все же неудобно, душечка!

– Душечка – чеховское старье.

– Верно! Она – подушечка! Для Иониной собачки. Это поновей будет!

– Не смей актрису так называть! Ей Ольга Леонардовна – мать родная... Чехов прабабку на коленях нянчил!

– Цыц, терпилы! Хватит лаяться. Толстоух знает, что делает!

Чуть повременив, скворец выступил из глубин сцены, подойдя к рампе, остановился, выхватил клювом из пакетика, надетого на его собственную шею, розовый листок. Листок у скворца отобрали, изучили.

Травести Суходольская произнесла бумажку вслух.

На одной стороне кем-то сердобольным было начертано: «Скворец священный, говорящий. Несъедобен!»

На другой: «Продажа бегемотов. Пишите: lopushnia.ru»

Труппа замерла в размышлении.

С кошкой в руках возвратился Иона. Та, простуженно мяукая, пыталась вырваться. Но перформатор держал зверя цепко. Он победно обвел взглядом тех немногих, кто еще не переметнулся в «Сатирикон» имени Райкина.

– Говорил ведь, найду жемчужное зерно. Утверждал ведь! – Иона величественно швырнул кошку на пол.

Мигом вспорхнул скворец, долбанул кошку в череп. Кошка, заорав, кинулась наутек.
– А вот и пролог к перформансу! Он фактически готов. Победил сильнейший. Но это только пролог прологов, челядинцы!

– Мы не челядин-н-н-н...

– Цыц!

Иона цыкнул вовремя. Как раз в это время снова заговорил скворец:

– Пролог пролог-гов! Конец концов-в! Они рядом! Майна, корм!

Иона бережно подхватил скворца под грудку, прижал к сердцу, потом, как папуас, потерся носом о птичий клюв и с криками «я сейчас!» снова побежал со сцены вон.

Дольщики-актеры почти разом звучно выдохнули и уже потянулись было к своим уборным, когда Иона, весело маша маленькой черной сумкой, вернулся. Вслед за ним, конфузливо поглаживая плечку, брел 1-й сценариус Митя Жоделет.

– Образ оброс скворцом! Пером и пухом оброс образ! Таким будет первое действие нашего мирового перформанса, – загудел Иона густо-шмелиным баском, – позвать сюда плотника и костюмеров. И цветоустановщика. Живо! Всех, кто не притворяется актером, кого сама жизнь в нашем государстве им сделала, – сюда!

Импровизация началась с тяжелой паузы, продолжилась чьим-то неприятным «охо-хо» и Митиным детским сопеньем. После двухминутного молчания Жоделет крупно, навзрыд, сморкнулся.

– Плачь, иудей, плачь! – стал подталкивать Митю к перформальной импровизации Иона. – Плачь, Жоделет, на реках вавилонских, плачь на Яузе, плачь на Лихоборке и на Чечере-реке! Плачь, Жоделет, в трубе вонючей и на подземных берегах укашенной Неглинки!

– Я не иудей, – вдруг насупился Митя.

– А сегодня им станешь. Гей, кто там! Цирульника на сцену! Лишнее отсекай! Кудри завивай! Мировую скорбь выколупывать!

– Так цирульница уволилась.

– Добре... Если нету цирульника – это меняет направление нашей импровизации, – перформатор слегка запнулся, – я тут покумекаю, а вы пока темку ищите, – добавил он и присел на корточки.

Грузноватому Ионе на корточках было неудобно. Но он, упорствуя, продолжал сидеть, опираясь одной рукой о дощатый пол, а другой – почесывая острый пасторский нос, над которым нависла узкая прядь до синевы черных волос.

– Думай, не думай, а импровизнуть придется! – крикнул оживившийся после неудавшегося посвящения в иудеи Митя Жоделет. – Пьес-то стоящих нет как нет! Кто, кроме нас, режиссеров и актеров, сможет свежо, по-новому представить ласку и насилие современной Москвы?

– Свежоп-по! Свежоп-по!

– Да завяжите вы ему клюв веревкой! – Толсто дух резво поднялся. – Быстро, без раздумий! Чему я вас три года учил? Делайте не думая! Делайте – в диалоге! – завертел он, как пропеллером, маленькой сумкой.

Артист Чадов, давно мечтавший о звании народного, а пока суд да дело, в бумагах пред фамилией ставивший простое и сильное – «артист из народа», – молча расстегнул ремень, стал, кряхтя, спускать узкие вельветовые штаны.

– Не та тема! Не так делать! – крикнул, сатанея, Толсто духов. – Федор Кузьмич, штаны позже! Штаны – в уборной!

– А вот я вот импровизировать отказываюсь. Лучше уж в Малый театр! Там отродясь никаких импровизаций дамам не предлагали.

– И с Богом, Валентина Васильевна, и с Богом!

– Иона! Голубь ты наш сизопузый...

– ...и сизожопый.

– Я ж говорю: голубь ты наш, Иона! Так ты всех актеров на хрен разгонишь.

– И разгоню. И ни капли не жалко! Один останусь. Вот с ним и с ним!

Иона поочередно ткнул пальцем в сторону скворца и сценариста.

– Дайте же нам тему, Иона Игоревич, – капризно выкривила губку травести Суходольская, в течение двадцати лет неостановимо переодевавшаяся на сцене и в других людных местах и теперь глазами и жестами сладко манившая к совместному переодеванию Митю Жоделета.

– Как же это так можно, чтобы самим выбирать темы? – заиграла баритоном гранд-кокет Пугина. – Я вне себя от восторга! Я тут, помимо карманов, должна еще душу задаром выворачивать? А фиг тебе, Иона! Заказ твой – импровиз мой!

– Даю тему: «Майдан в Москве».

– Мы не турки...

– Верно! Хватит нас тут словами турецкими стращать. У нас своего болота выше крыши!

– Добре, челядинцы. Даю другую тему: «Скворец в блокаду».

В зале что-то надломилось и мерзко хрустнуло. Повисла зловещая пауза.

– Мы на такую тему импровизировать несогласные. Ты, Иона, хлюст и мордоплюй!

– Ну просто – гусь лапчатый!

– Доставала.

– Жох...

– А пускай тебе канал «Слякоть» на такую темку импровизирует!

– Цыц, челядинцы! Фигурально выражаясь... Песни скворцов – подбадривали бойцов! Понимаете? Под-бад-ри-ва-ли! И вообще, вернемся к источнику: образ оброс скворцом! Это главная находка на сегодня. А блокада – она потом, позже....

– Хватит здесь темнить! Вы просто нацист, Иона Игоревич!

– Побойтесь Бога, Элиночка! Вы такая молоденькая... Это же просто невероятно, чтобы вы хоть что-то в нацизме волокли. И потом. В искусстве все позволено! И как раз потому, что в жизни нашей нельзя ничего! Добре. Забыли войну, забыли блокаду. Другая тема, Элиночка...

– Ага. Он тебе сейчас такую темку меж ног всунет, хоть стой, хоть падай, – глухо протрубил из-за спин актеров кто-то невидимый. – «Однополый брак на передовой украинской армии» будет темка называться. Иона-то наш бжезикнутый!

– И однополый!

– Кто крикнул: однополый? Кто смел упомянуть про однополый фашизм? Дать немедленно свет!

Свет не включился. Грузноватый, коротко стриженный сзади, длинноволосый спереди Иона ловко сбежал со сцены в зал, стал стучать откидными сиденьями, шарить ногой под креслами.

– Убежал, мерзавец. Запеканкин это! Измененным голосом, ера, кричал. Но мы к нему еще вернемся на худсовете!

– Не маши звездой, Иона! Тебе про однополый фашизм слышалось.

– 3-з-запекан! 3-з-запекан! Не маши звез-здой!

Иона не спеша возвратился на сцену.

– Добре. Вы, я вижу, мало чего можете. Тогда... – Толстодухов крутнул разок-другой сумочку на пальце, – тогда... Нашел! Расселина! Давно пора окунуться в нее! Звучач: шорох шин и трамвайный звон! И сразу же – потаенный ропот у стен Кремля. А потом – треск земли, вой расселины...

– Звукач – уехамши. За дисками, грят, уехал. Кончились у него, грят, совсем диски. А еще – батареек семнадцать штук ему, грят, надо...

– Тогда начинает Жоделет. Стиховой всплеск про выдуманную мешанами расселину. За Жоделетом – грасьосо. Потом – серветта. Спиной, спиной ко мне разворачивайтесь, кривляки! Задом – марш!

Повинуясь воле перформатора, актеры и 1-й сценарист пошли по кругу задом наперед. Не дожидаясь, пока вступит Жоделет, Иона сам загудел густым шмельком:

– Над расселиной слухи гадкие, мол, внизу там звери опасные. Мол, в расселине наши помыслы, наши замыслы и все прочее. Весь наш дрызг сердец, весь наш сор мозгов, треск штанов, трусов и прозрачных блуз там зачем-то, блин, сберегается...

– Большевизмом к нам устремляется!

– Путинизмом в причмок увлекается!

– С ельцинизмом раненько прощается!..

Середина сценического пола внезапно хрустнула, разломилась, частью встала ребром, частью ушла вниз. Из театральных глубин полыхнул белый, с лягушачьим отливом огонь. Некоторых актеров шатнуло назад, Тучкин и Белобокин рухнули вниз и там подозрительно затихли.

И почти сразу выставилось из разлома зеленое мурло с буйно колосющимися, словно бы обсыпанными мукой, бакенбардами.

Многие ахнули, но Иона не растерялся:

– Тебе нас не развалить! Ты хэппенинг с перформансом до сих пор путаешь, Запеканкин! Слышали, как ты вчера орал: «Я покажу вам, кто тут главный перформист! Любую сцену провалю мигом...» Решил уесть нас машиной?

– Там мь... й... ертовые... – тихо екнул измазанный зеленкой машинист.

– Где мертвые? Никаких мертвецов у нас на театре не было и нет. Везде свежак, все живо, все в меру солоно! Брось, Запеканка, свои иллитераты!

– Они как умерли... – зеленое мурло с бурдастыми щеками скривилось до слез, – или умрут сейчас. Вроде дышат, а вроде мертвые! Может, кончину чувствуют...

– Ты мне тут Генрика Наибсена из себя корчить брось. Изыди, Запекан!

Бурдастое мурло исчезло.

Предварительная импровизация, необходимая для перехода к вечернему перформансу – то есть к преодолению барьеров между актером и зрителем, – продолжилась. Но как-то вяло. Артисты ТЛИНа перестали ходить задом наперед, часть из них подступила к разломившемуся театральному полу. Глотнув подпольной сырости и осмотрев двух сидящих внизу с закрытыми глазами товарищей по цеху, а также улегшегося на живот Запеканкина, актеры нехотя продолжили импровизацию:

– Говорят, в Москве овраг
Всех раззяв глотает, враг!
– И бомжей в щелях прессует,
Растирая души в прах!

– Не жалеет даже птиц,
Их потомства, их яиц...
– А посетив один дворец,
А петухом запел скворец!
– Причем бурдастый тот петух
Ионе был первейший друг!
– Запеканкин, Запеканкин,

Глянуть бы на твой изнанкин!
– Что за байки, что за бред?
Вы актеры или нет?
– Мы актеры, мы вахтеры,
Костюмеры, гвоздодеры,
Петушары, пердуны!
– Дятлы, цапли, каплуны!..
– Я придумал, все, ура!
Всем в расселину пора!
– Не в расселине, а здесь,
Будем спать, плотая взвесь...
– Спим, спим, спим.
– Спам, спам, спам.
– Бим. Бом.
– Бам...

Убаюканные собственной импровизацией, актеры прямо на сцене, которая была им все-таки родней, чем грязноватый толстодуховский променуар, стали засыпать. Лица спящих заметно побелели, потом стали как белый с зеленцою гипс, веки схлопнулись, подбородки косо обвисли.

Захрапел тучный Чадов, засвистел носоглоткой, как будто туда вставили две крохотные дудочки, Митя Жоделет, ляснул себя по шее и звучно зевнул суфлер Булкин, даже инженеру Суходольская, распрямив под щечкой крохотную ладошку, сладко выдохнула: «Ах!»

Один скворец не поддался всеобщему засору мозгов. Скрыто негодуя, он сперва тихо, а потом все громче стал покрикивать, стал будить гипсоголовое царство:

– Вставать пор-ра! Давно пор-ра! На траве дрова! На двор-ре – война!

Недовольные досрочным пробуждением, отряхивая мелкие частицы реквизита, резко сверкнувшие в пламени только сейчас зажженных ламп, морщась и припоминая сонную расселину, актеры начали подниматься.

– П... прогон состоялся! Свето-звуко-спектакль «Расселина сна» принят! – заикаясь от счастья, крикнул Иона. – Свято клянусь вам: завтра же мы этот звуковой клип двинем по максимальной таксе!..

Парад иллитератов. Велодриммер и незнакомцы

После предварительного перформанса, увенчанного кратким сном и досрочным пробуждением, скворца взял в оборот Митя Жоделет.

Толсто дух к тому времени из театра отбыл, и мозгляковатый Митя, помогавший перформатору носить черную изящную сумочку и заведовавший выходом актеров на сцену, а кроме того, обожавший давать всем встречным-поперечным нелепые имена и прозвища, за что бывал нещадно лупцован, мигом почувствовал ширь в ушах.

– Масленая неделя через три дня кончается. Чего тут рассусоливать? Нужно наскоро клепануть клоунаду, – сладко взбурлил Жоделет, – и соединить ее с перформансом! Даже сюжетец есть: снег, Масленица, горелые блины и тонна мороженой клюквы, которую вываливают прямо на Триумфальной площади, к подножию... ммм... Идиота Полифемовича. И тут же, у подножия памятника, – парад иллитератов! Пройдут мимо товарища Маяковского вздохи и свисты, хрюки и пуки! Все иллитераты в подходящих костюмах, кое-кто – в париках! Свист – в костюме Жирика. Пук и хрюк в костюмах Порошенко и Тимошенко. Не хуже, чем у Ионы, получится. И не заругают: неделя ведь просто чудо, каждый день праздник! Сегодня – какой?

Митю слушал лишь один человек. И был этот человек очаровашкой!

Нежно-золотая завлит Слуквина, которую Витя запросто звал то Кириешкой, то Кирюлькой и которая на самом деле носила сладко-влажное имя Кирилла, чуть покривила вспухшие от толсто духовских речевек губки:

– Широкий четверг, – нехотя подсказала она, – потом тещины вечерки, потом золовкины посиделки. А в конце – Прощеное воскресенье... Вот возьму и прошу через три дня Иону! Или, к примеру, тебя, Митя.

– Меня-то зачем? Я тебя в темных углах не мял. Ладно, не отвлекайся. Стало быть, четверг. И притом – широкий... Вот! Все дело в ширине! Люди хотят разгула. Но одного разгула им мало. Все хотят к разгулу добавить что-нибудь еще, все чего-то ищут. Ну, положим, ищут они вечное счастье. Тут мы всем театром к зрителю и подступим, тут косное пространство меж ними и нами – разрушим! И скворец с нами. Его в клоунаду-перформанс обязательно вставить надо. А пока будет билеты перед спектаклем выдергивать. Из шапки. Золотой, золотой скворец нам достался!

Не вполне разделявшая страсть Жоделета к новациям, сладкоголосая Кирюленция, а по временам – Кирюндук и Кирлюндия, откинулась в кресле:

– Он же с пухоедами. Или блохастый.

Митя осмотрел скворца на предмет блох.

– Ничего я такого не вижу. Птица как птица.

– А укусит кого? Кого стоящего пухоед, спрашиваю, укусит? – Золотоволосая и златокожая, с округло-бархатистым личиком и тонким, чуть видимым, голубоватым изломом чудесно вздернутого носа, на том месте, где должна быть горбинка, Кирюленция от испуга даже зажмурилась. – Тогда пиши пропало! Тут уж не про пухоедов, про собственную задницу думать придется.

– Да не укусит, Кирюль. А пухоедов и блох – мы в коробочку и на выставку. Священные пухоеды под стеклом! Серебренникову – не снилось!

– Лучше штаны скворцу подобрать. Раз он на двух ногах и притом не летает, а ходит.

– Это, положим, верно. В полете штаны не нужны, а вот при ходьбе, – Митя поддержал серенькие свои брючки, – а вот при ходьбе... В общем, займись. Возьмешь из наших, кукольных. И давай мы этого скворца как-нибудь назовем... Ммм... Пусть будет – Рюрик!

– Смело как! Неожиданно! – Нежная Кирлюндия захлопала в ладоши.

- Или не так. Рюрик – старообразно. Пусть будет – Влад.
- Нет, не годится. Сразу Дракулой пахнуло.
- А как Дракула пахнет?
- Ну, не знаю. Наверное, сахарной кровью... Трупно и приторно пахнет, вот!
- Трупно и приторно? – удивился Митя. – Ладно, тогда сама придумай.
- А пускай будет – Велодриммер!

Удачно названного скворца решили сегодня же показать в променуаре, перед основным спектаклем. Вопросы скворцу по ходу показа должна была сквозь щелку задавать Кирилла. Суфлировать вызвался сам Жоделет...

Кончился широкий четверг.

Часа за полтора до спектакля всем вдруг стало тягостно. Гулкая пустота заполнила «Театр Ласки и Насилия» до краев! И хотя спектакль был еще далеко, за горами, – в прогулочный зал, по двое, по трое, стали выбегать актеры. Балаганными жестами они старались приободрить друг друга.

Ждали первого зрителя. Скворца держали на задней половине, в костюмерной, чтобы не расходовал силы зря.

Наконец Митя не выдержал, скакнул на улицу. Сперва Жоделет хотел прихватить с собой священную майну, но передумал, оставил в костюмерной: «А то и простудить скворца недолго. И тогда не дожить майне до кончика Масленицы, до сладостного Прощеного воскресенья!» – завертелось в голове у Жоделета что-то похожее на слова из будущей пьесы.

Тут – удача! В переулке безлюдном, в переулке изогнутом, сквозь бусенец дождя и снега, – внезапно три фигуры. Двое в камуфляже, один в плащ-палатке и бутафорской немецкой каске.

«Вот тебе, бабушка, и променуар с клоунадой! Актеры Театра Российской армии к нам пожаловали. И этот... заслуженный Пяткин с ними. Как выступают, как идут! Находчивей нас они оказались. Тут тебе и деловая прогулка, и натурный перформанс. А может, скрытой камерой их снимают?»

Потирая руки от предвкушения плодотворного сотрудничества, Митя двинул братьям-актерам навстречу.

Первый удар в лицо оказался хрустким, страшным. Второго Митя ждать не стал, кинулся наутек, но был пойман за хвост парадного фрака, только что, по случаю представления скворца публике, напыленного.

- Где птица, р-разбойник? – спросил, рокоча, заслуженный Пяткин.
- Как-кая птица?
- Скворец ученый где, спрашиваю? Мы за ним пол-Москвы по цыганской наводке оттопали. Здесь где-то он...

Митя был высоко поднят и болезненно обрушен наземь.

- Точно не знаю... В костюмерной или в примерке у Чадова!
- Што за примерка такая?
- Да ладно вам, товарищ Пяткин... Гримуборная же!
- Так, стало быть, тут вертеп, позорище?
- У нас – никаких позорищ! У нас театр – будь-будь. Умереть и не встать театр! Это только Иона его «Театром Ласки и Насилия» называет. А по бумагам – «Театр Клоунады и Перформанса»...

- Што за Иона такой? Ваньки Тревогина приятель? Отвечай, сквернавец!
- Никакого Тревогина у нас в труппе нет. Даже фамилии такой не слыхал, ей-бо...
- А птицу, птицу евонную кто сюда приманил?
- Скворца, я извиняюсь, Иона принес. Я ни при чем, непр-р-р...
- Ни при чем, говоришь? Как кличут?

– Митя Жоделет...

– Димитрий, плод земной... – Великан с клокастыми бровями, похожий на заслуженного Пяткина, сложил губы колечком, словно хотел выпустить изо рта дым или пламя, снова Митю поднял, подержал на весу сколько надо.

– Хы-а, – вдруг ни с того ни с сего ослабился другой артист, гололобый, похожий на турка, – а Поп, Грек, Чернавка и Гаер – они у вас тоже имеются?

– Веди в гримуборную, сквернавец...

Широкий четверг, вдруг страшно – до кровоподтека, до заплывших фиолетовой синевой глаз – вспух, а затем беззвучно лопнул.

Царство Тревогина

Володя Человеев пронзительно затосковал. Он сидел у Дзеты на дому, ничего не читал, ничего не смотрел, даже о русском характере и о его усилении перестал задумываться.

Так прошел день. Вечером, шелестя вязкими крыльями, прилетела Дзета. Рассказала о возмутительной пропаже удостоверения, о потерянных, а потом вновь обнаруженных следах говорящей птицы.

Ласки старшего дознавателя Володя принимал равнодушно. Дзета сердилась и плакала, но потом, сцепив зубы, снова и снова подступала к помутневшему от скорбей Человееву.

Но только в те минуты Володя дознавателя не видел, даже на ощупь не чувствовал! Тогда Дзета, смахнув слезу, сказала:

– А я тебе, подлец, обещанные копии пггинесла.

– Чего ж ты молчала? Давай их сюда!

– Фигушки. Только утггом. Утггом, как на таггелочке, пггиподнесу тебе еще одного истоггического уголовного: Ивана Тггвеогина! А пока...

– Пока поест бы.

– А ты пггиготовил? Ладно, пойдем, сожггешь ваггеники с вишнями. Я их в пггкугугуге, в буфете купила.

– В прокуратуре? Что-то есть перехотелось, – сглотнул слюну Володя и стал с омерзением раздеваться.

Утро настало не скоро. Дзета отбыла в свое грозно-пампушечное учреждение. Оставшись один, Человеев стал разбирать перепечатки, которые старший дознаватель приволокла из РГАДА.

Ярость и ненависть вдруг разом упали Человееву на плечи: Тревога, Тревогин! Вот кто был теперь важен, вот кто был теперь необходим!..

Час спустя Володя решил встряхнуться. Он начал ходить по Дзетиной квартире на руках, бросил, встал на ноги, крепко задумался. Еще раз вспоминал то, что вычитал про Офирское царство у князя Щербатова. Теперь княжеская книга показалась ему близорукой и прихлебательской.

– Военные поселения на манер Аракчеева, то, другое... А вот скворец не про княжеский, про иной Офир кричит! Про тот, который Ванька Тревога описал!

Человеев снова стал тасовать перепечатку следственного дела за номером 2630, сделанную Дзетой в Российском архиве древних актов.

Что это было за наслаждение – царство Тревогина! Чем-то близкое к современности, но намного более радостное, несказанное! Все больше воодушевляясь, Володя снова и снова перечитывал заголовок дела: «О малороссиянине Иване Тревогине, распускавшем о себе в Париже нелепые слухи и за то отданном в солдаты. При том бумаги его, из коих ясно, что он хотел основать Офирское царство на острове Борнео».

Воткнувшись в листки, Человеев стал выборочно, с короткими паузами, читать вслух: «...и переименовал тот Ванька прозвище свое Тревога на Тревогин. Переехав из Харькова в Воронеж, а оттуда Санкт-Петербург, стал подавать прожекты. Издавая журнал «Парнаские ведомости», влез в долги. Не желая платить по долгам, покинул пределы империи. За кордоном сказками своими и трактатами стал смущать народец голландский, потом французский. За это и за ограбление ювелира мосье Вальмонта был заключен в тюремный замок, именуемый Бастилия. Пребывал в башне Базоньер, в камере за номером 2...»

* * *

Башня слыла необитаемой. В ней, если не считать единственного узника, и впрямь никого не было.

В камере было душно. Однако из каменной щели тянуло свежестью дубрав. За рвами был сад! По тому саду-вертограду заключенный мысленно путешествовал. Отрадно и весело было глядеть на стриженных парижских собак, на господ с дамами. Сил оторвать мысленный взор от сада – не было.

А пришлось! Единственный находившийся в камере стул тягуче скрипнул. Следственный судья поморщился, устроился поудобней. Переводчик, переступая с ноги на ногу, повторил заданный судьей вопрос:

– ...и продолжаете утверждать, что вы принц Иоаннийский?

– Утверждаю и награжу вас по-королевски, когда час подойдет.

Последние слова переводчик толмачить не стал. Однако следственный судья по характерному жесту заключенного – пальцы, пересыпающие золотые луидоры, – их понял. Гримаза отвращения исказила тонкие, с чернилкой, губы судьи. Он получил королевский патент, он имеет достойное жалованье, обладает важными полномочиями! А этот русский самозванец, объявляющий себя то королем, то принцем, смеет ему здесь что-то обещать! Судья безглаголиво приложил к губам кружевной платок, подарок премилой Зизи.

Переводчик, спеша загладить неприятную паузу, задал новый вопрос:

– Серебро в лавке мсье Вальмонта зачем же брали, коли средствами располагаете?

– Гонца снарядить в мое собственное королевство спешную надобность имел.

Следственный судья встал. Пустая болтовня томила его. Порожняя башня – наполняла гневом. Припомнился гуляющий по праздникам близ ворот Сент-Антуанского предместья, грозящий кулаками башням Бертодьер, Базоньер и шести прочим парижский люд. Следовало немедленно передать государственного преступника Российской империи! Пускай там возятся.

– Merde, merde. – Мясистой ладонью судья отстранил от лица спертый воздух и королевской поступью прошествовал к выходу из камеры № 2.

Переводчик на ходу оглянулся. Этот русский, которого, конечно же, следовало немедленно повесить на Гревской площади, интересовал его все больше. Неужто и впрямь есть на земле место, где каждый подданный свободней французского короля?

Большоголовый узник с розоватым лицом и сахарными, обметанными мельчайшей белой сыпью татарскими, вывернутыми наружу губами отрешенно улыбался. Не успели судья и переводчик выйти, как он стал мерно произносить только что пришедшие в голову строки:

Пою гониму жизнь несчастного Тревоги,
Который, проходя судьбы своей пороги,
Неоднократно был бедами окружен,
В темницу брошен и чуть жизни не лишен...

* * *

Володя Человеев взбил кончиками пальцев льняные волосы и продолжил чтение.

«...через некоторый промежуток времени, в сопровождении тайного агента господина Обрескова и французского инспектора полиции мосье Ланпре, доставлен был самозванец в Санкт-Петербург...»

«...а всеми вольностями и свободами, предоставляемыми Российской империей, тот Ванька Тревога продолжал пользоваться сполна. Перевели его из Петропавловской крепости в смиренный дом, где содержали строго, но с подобающим к его учености уважением...»

«Из трактатов, писанных Тревогиным, не все разделы имеют одинаковый вес, и лишь некоторые – настоящее обоснование... Писал Тревогин, между прочим, следующее: «Царство Офир учреждается для собрания в одно место всех наук, художеств и ремесел, для приведения оных в совершенство и для просвещения народов. Признается сменяемость правителей всех рангов...»

– Так у нас эту сменяемость и признали. По сорок девять лет сидят на теплых насестах в Москве и в Питере, ни годом меньше!

«Офирский кавалер не что иное есть, как только ученая особа, вступившая в Офирское царство из одного только к человеческому роду усердия и любви... А вольности офирские должны быть такие...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.